М.Н.ПОКРОВСКИЙ

МАРКСИЗМ И ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

DK
38

РАБОЧЕЕ ИЗД-ВО «ПРИБОЙ» ЛЕНИНГРАД

ОПЕЧАТКИ.

Стр.	*Строка.*	*Напечатано:*	*Должно быть:*
6	16 сверху	из русских	из ранних русских
10	1 снизу	об однообразии	об „однообразии
20	2 „	быть	быть,
23	16 „	государтва	государства
24	15 сверху	его	этого
51	13 снизу	люди и крестьяне	люди на поле брани и в делах гражданских, тяглые люди—посадские
56	1 сверху	важности, крестьянская	важности. Крестьянская
57	6 снизу	был дать	был бы дать
58	3 сверху	экономической	экономистской
114	23 снизу	Узбекистана	Узбекистана,
115	1 „	на 1496,09%	на 1496,09%“
130	15 сверху	была под лозунгом	была лозунгом
130	8 снизу	развития	развития,
131	8 сверху	мер,	мер,–
135	7 снизу (выноска)	по *первому* изд.	по *первому* изд.:

М. Н. ПОКРОВСКИЙ

МАРКСИЗМ И ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

СБОРНИК СТАТЕЙ 1922—1925 г.г.

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРИБОЙ“
ЛЕНИНГРАД 1925

„Пров 38"





275
38

Ленинградский Гублит № 18652. Печ. 8.000 экз.—9 л. Зак. № 2610.

Государственная типография имени тов. Зиновьева. Ленинград, Социалистическая, 14.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Печатаемые в этом сборнике статьи написаны по разным поводам и в разное время, но представляют собою одно целое. Все они посвящены борьбе с буржуазными концепциями русского исторического процесса, основательно засорившими и засоряющими до сих пор нашу марксистскую литературу. По сути дела эти концепции отправляются от *одной* мысли—что в России абсолютизм сложился, как внеклассовая организация государственной обороны. Эту точку зрения целиком усвоил, к концу своей жизни, Плеханов—разбору его теории и посвящена первая статья сборника. От Плеханова она перешла к тов. Троцкому, попытавшемуся заново, иногда весьма оригинально, ее переаргументировать. Полемика с тов. Троцким составляет содержание четырех следующих статей. Когда автор писал первые из них, он еще видел в тов. Троцком единомышленника, случайно, может быть, по фактической неосведомленности, сбившегося с правильного пути: этим об'ясняется тон первой и отчасти второй статьи. По мере хода полемики выяснилось, что никакой случайности здесь нет, что налицо коренное расхождение мировоззрений, которое остается только констатировать.

Аргументация тов. Троцкого соблазнила некоторых молодых историков, из которых автор особенно признателен тов. А. Н. Слепкову, давшему ему повод обосновать классовый характер самодержавия накануне его падения—пункт, вызывающий наиболее сомнений и колебаний в нашей литературе, хотя, в сущности, теоретически он до конца был выяснен еще тов. Лениным, подчеркнувшим и необычайную архаичность этого учреждения, „невероятную застарелость и устарелость царизма". Выяснению конкретных исторических условий живучести этого допотопного чудовища и посвящены две большие статьи об „особенностях исторического развития России". Так как формально они направлены против тов. Слепкова, и в них есть ссылки на мою первую заметку по поводу его выступления, то эту заметку („О пользе критики" etc.) я и перепеча-

тываю в приложении. В большей своей части заметка отношения к настоящей теме не имеет.

Полемика по поводу буржуазных теорий русского исторического развития выяснила, между прочим, крайне несовершенное знакомство у нас с историей возникновения самих этих теорий—а без этого невозможно сознательное отношение к ним. Отсюда необходимость статей о том, как эти теории возникли (№ 6 настоящего сборника). Может быть, читателю будет полезно познакомиться с ними раньше чтения всей остальной части книжки, но так как они предполагают полемику с тов. Троцким уже немножко знакомой, я помещаю их после этой полемики.

Как во всяких статьях, написанных „к случаю" в разное время, в этих статьях не без повторений, в особенности в области цитат. Этого невозможно было избежать, да я и не знаю, подлинно ли это недостаток: цитата всякий раз освещена с новой стороны, дана в новой цепи аргументов и, являясь повторением для автора, по существу вовсе не является простым повторением для читателя.

В заключение—две строки по частному поводу.

Тов. Рязанов, в предисловии к новому изданию „Истории русской общественной мысли" выдвигает, в качестве довода против моей оценки Плеханова, то, что он, Рязанов, давал уже такую же оценку Плеханову ранее меня. Я очень рад быть последователем Д. Б. Рязанова, но не вижу, в чем же тут возражение против моего взгляда? Что же касается дальнейшего замечания тов. Рязанова, что беглых очерков, подобных моему, недостаточно и нужно разработать вопрос глубже, то с этим я опять совершенно согласен, и сам об этом говорю в начале своей статьи: но вот подите ж—со времени написания статьи прошло два с лишним года, а книги о Плеханове, как историке, все еще нет (т. Тер-Ваганян берет Плеханова гораздо шире). Почему бы ее не написать самому Д. Б. Рязанову?

М. П.

9/VII—1925.

Г. В. Плеханов, как историк России.

Основоположник русского марксизма нередко бывал жертвою домарксистских приемов изучения. В статье его старого друга, Л. Г. Дейча, можно найти рассказ о том, как, только переехав русскую границу и в достаточной степени овладев немецким языком, Плеханов оказался в состоянии прочесть „всего" Маркса—и стать марксистом [1]. В основе плехановского марксизма лежала, таким образом, книга: от того, прочел он эту книгу парою лет раньше или позже, зависело, когда сделается марксистом Плеханов и с какого года будем мы датировать торжество пролетарской идеологии в России.

По отношению к этому факту у нас, к счастью, есть документ, избавляющий от необходимости таких слишком „литературных" методов исследования. На страницах „Под Знаменем Марксизма" уже цитировалась знаменитая—по крайней мере вполне заслуживающая знаменитости — вторая статья Плеханова в „Земле и Воле", посвященная русскому рабочему движению. Непосредственно вызванная петербургскими стачками 1878—1879 годов статья на два года предшествовала поселению Плеханова за границей и штудированию им Маркса в подлиннике: а марксистский подход в ней на-лицо. Говорить о Плеханове, как диалектическом материалисте, мы можем уже с той поры, когда из-под его пера еще выходили (частично их можно найти даже в этой статье) чисто народнические заявления.

„Действительность, как явившийся, отелесившийся разум,— можем мы повторить цитированные когда-то Плехановым слова Белинского,—всегда предшествует сознанию, потому что прежде, нежели сознавать, надо иметь предмет для сознания. Вот почему естествознание или учение о природе явилось гораздо позже самой природы, грамматика —после языка, история—

---

[1] „Как Плеханов сделался марксистом", „Пролетарская Революция", № 7, за 1922 г.

после пережитой народом жизни". А пролетарское понимание истории, можно прибавить,—после того, как выступил на историческую сцену пролетариат. Не потому появился на Руси марксизм, что Плеханов нашел досуг для изучения в подлиннике произведений Маркса—а Плеханов стал их изучать потому, что налицо уже было русское рабочее движение, понять и осмыслить которое, руководить которым, не изучив Маркса, было нельзя.

Все это весьма давно известно, скажет читатель. Весьма давно—а вот подите же: нет в России, по крайней мере мне неизвестно, работы о Плеханове, которая бы целиком стояла на этой точке зрения, которая бы брала всю литературную деятельность Плеханова, как отражение об'ективно происходившего в России рабочего движения. А между тем без такого подхода нам никогда не понять причин „величия и падения" величайшего из русских марксистов. Не только пролетарской, но и анти-пролетарской стадии литературной биографии Плеханова мы не поймем, не приложив к нему самому им самим внесенного в русскую литературу метода.

Пишущему эти строки досталась неблагодарная задача—писать о том, что относится именно к „анти-пролетарскому" периоду деятельности Плеханова: за изложение „Истории русской общественной мысли" основатель русского марксизма принялся тогда, когда он переставал уже быть марксистом. Но всякий, кто таковым остается, обязан работать на отведенном ему участке, не спрашивая, выгоден он или нет, раз работа нужна. И тут приходится только пожалеть, что „юбилейная" обстановка заставляет ограничиться небольшим докладом, тогда как нужна книга. На вопрос: как Плеханов создал ту концепцию русской истории, которую мы находим во введении к „Истории русской общественной мысли" („Очерк развития русских общественных отношений"), можно ответить лишь на фоне другого, более общего вопроса, гласящаго: „как Плеханов сделался оборонцем?". А для ответа на этот последний вопрос нужно изучить не только *исторические* писания Плеханова, но все его писания за период 1905—1914 годов (в последнем году вышел первый том его „Истории").

Для этого, повторяю, нужно написать целую книгу. Неприятная же особенность писания книг заключается в том, что это работа абсолютно бессрочная, с теперешней, кинематографической точки зрения. Книги пишутся годами, брошюры (хорошие) месяцами, и лишь статьи можно писать днями (газетные даже часами). Вот почему я отчетливо сознаю, что мне не удастся сколько-нибудь удовлетворительно ответить на поста-

вленный—не моим капризом, а требованиями материалистического метода—вопрос. Но и поставить вопрос все-таки необходимо: покойник Ключевский — человек отменно умный, хотя и не наш—говаривал, что поставить вопрос—половина книги.

Вот какую формулу исторического процесса давал Плеханов в те дни, когда он, безо всякого спору, был выразителем пролетарской идеологии — в 90-х годах прошлого столетия. „Всякая данная ступень развития,—читаем мы в его тогдашней основной методологической работе, — производительных сил необходимо ведет за собою *определенную группировку людей* в общественном производительном процессе, т.-е. *определенные отношения производства, т.-е. определенную структуру всего общества.* А раз дана структура общества, не трудно понять, что ее характер отразится вообще на всей *психологии* людей, на всех их привычках, нравах, чувствах, взглядах, стремлениях и идеалах. И привычки, нравы, взгляды, стремления и идеалы необходимо должны приспособиться к образу жизни людей, к их *способу добывания себе пропитания* (по выражению Пешеля). *Психология общества всегда целесообразна по отношению к его экономии, всегда соответствует ей, всегда определяется ею.* Тут повторяется то же явление, которое еще греческие философы замечали в природе: целесообразность торжествует по той простой причине, что нецелесообразное самим характером своим осуждено на гибель. Выгодно ли для общества в его борьбе за существование это приспособление его психологии к его экономии, к условиям его жизни? Очень выгодно, потому что привычки и взгляды, не соответствующие экономии, противоречащие условиям существования, помешали бы отстаивать это существование. Целесообразная психология так же полезна для общества, как хорошо соответствующие своей цели органы полезны для организма".

Здесь дан совершенно отчетливый ответ на вопрос, как движется исторический процесс в пределах развития производительных сил. Оставалось ответить на дополнительный вопрос: что толкает вперед развитие этих последних. Плеханов и на это, в 90-х годах, давал ясный и точный ответ.

„Первоначальный толчок для развития общественных производительных сил дает сама *природа:* их рост в значительной степени определяется свойствами *географической среды.* Но отношение человека к географической среде не неизменно: чем больше растут его производительные силы, тем быстрее изменяется отношение общественного человека к природе, тем быстрее подчиняет он ее *своей власти.* С другой стороны, чем больше

развиваются производительные силы, тем скорее и легче совершается их дальнейшее движение: производительные силы в современной Англии растут несомненно быстрее, чем расли они, например, в древней Греции. Именно этой-то внутренней логике развития производительных сил и подчиняется в последнем счете все общественное развитие, подчиняется по той простой причине, что общественные отношения, не соответствующие данному состоянию производительных сил, неизбежно устраняются: пример—рабство, которое перестало существовать, когда пришло в противоречие с производительными силами общества, т.-е., говоря проще, когда стало невыгодным. Само собою понятно, что это устранение отживших учреждений и отношений вовсе не происходит само собою,—нелепая мысль, которую часто приписывают диалектическим материалистам их противники. Даром ничто никому не дается,—эту старую истину прекрасно знают материалисты-диалектики" [1].

Короче, в виде очень сжатой схемы, Плеханов повторил еще эту формулировку в 1908 году в „Основных вопросах марксизма".

„Если бы захотели кратко выразить взгляд Маркса-Энгельса на отношение знаменитого теперь *„основания"* к не менее знаменитой *„надстройке"*, то у нас получилось бы вот что:

1. *Состояние производительных сил.*
2. Обусловленные им *экономические отношения.*
3. *Социально-политический строй,* выросший на данной экономической „основе".
4. Определяемая частью непосредственно экономикой, а частью всем выросшим на ней социально-политическим строем, *психика общественного человека.*
5. Различные *идеологии,* отражающие в себе свойства этой психики".

Тут, конечно, есть кое-что новое—и это новое, без сомнения замеченное уже читателем, заключается в несомненной попытке сколь возможно эмансипировать *политический* момент из-под влияния производительных сил. Отодвинуть его подальше от них. Но и отделенная более или менее толстой прослойкой „основа" все же остается на своем месте (хотя зачем-то и попадает в кавычки). Формулировка „Основных вопросов" все же еще приемлема для всякого марксиста.

И вот, автор всех этих формулировок принимается за изображение конкретного исторического процесса, общественного

[1] „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю", по изданию 1919 г., стр. 140 и 273.

развития определенной страны, России. Как должен был он поступать?

Прежде всего, конечно, выяснить условия *географической среды*. Показать, как отразилась она на развитии *производительных сил*. Показать далее, какие, на основе этих последних, возникали *группировки людей*, классовые отношения. Выяснить, как эти отношения отразились на *политической надстройке*, которую, впрочем, автор „Монистического взгляда на историю" правильно не находил нужным выделять из „структуры всего общества": государство, действительно, лишь самый верхний этаж этой структуры. Наконец, из этой структуры вывести „психику общественного человека" — показать, как, в данных условиях развития производительных сил, развивалась в России „общественная мысль".

Подойти к *географической* среде русской истории было, сравнительно, нетрудно. Огромный и, при всей хаотичности, правильно, с точки зрения материалистического об'яснения истории, ориентированный материал собрал уже Щапов, в 1860—70-х гг. Синтезировавший все предшествующее развитие, включая и Щапова, Ключевский посвятил вопросу две лекции своего курса, из лучших в I части. Во всем этом не хватало *диалектики* — географические условия изображались, как равные себе на всем протяжении процесса; того изменения в отношениях человека и среды, которое подчеркивает Плеханов, не замечалось. Кому, казалось бы, внести в этот, уже подобранный, материал диалектическую точку зрения, как не основоположнику диалектического материализма в России?

В действительности, как это ни удивительно, Плеханов проходит мимо всей этой груды ценнейших для него фактов. Как отправную точку историко-географического анализа, Плеханов берет одно из общих мест автора, писавшего ранее и Ключевского, и даже Щапова, одно из общих мест Соловьева, который, борясь с давно почившим в русской литературе федералистическим началом и обосновывая историческую неизбежность для России быть единым централистическим государством (мы в 1850-х годах, не забудем этого), выдвигал на первый план „однообразие природных форм", „*исключавших* областные привязанности".

В одном месте своего четырехтомника я попрекнул как-то Соловьева „школярством" (по поводу его об'яснения Петровской эпохи). Это стяжало мне исключительную честь быть названным на страницах „Истории русской общественной мысли" (вообще избегающей упоминать о марксистах, писавших по русской истории). Плеханов, длинно и нудно, по своей обычной

манере последних лет, поучает своего читателя, какой я невежливый и невежественный человек, что решаюсь о Соловьеве (подумайте!) употреблять столь непочтительные термины. Мое уважение к Соловьеву, одному из умнейших и, без всякого сравнения, образованнейшему русскому историку XIX столетия, не меньше плехановского. Но на „школярстве" я все-таки продолжаю настаивать. Виноват в нем не Соловьев, а качества его *аудитории*. Как все профессорские произведения, исторические писания Соловьева выросли из его *лекций*. А эти лекции читались публике, по своему развитию стоявшей не выше теперешних школьников второй ступени. С этой публикой приходилось говорить наиболее простым и общедоступным языком, начинать с самых элементарных обобщений. Соловьеву нужно было доказать, что централизованная империя Николая I (да, „вот давно как это было!") есть осуществление той идеальной цели, к которой стремилась российская история „с древнейших времен". Для сидевших перед ним, фактически, гимназистов, еще не решивших окончательно, какой мундир лучше, студенческий или гусарский [1], „однообразие природных форм" было, конечно, аргументом силы потрясающей. Для нас это фраза из гимназического учебника пятидесятых годов XIX века.

Но посмотрите, как носится с этой фразой Плеханов („История русской общественной мысли" I, стр. 32 и сл.). Как обстоятельно и учено, с цитатами из Маркса, с параллелями из биологии пытается он еще более разжевать своему читателю „ценную мысль", которая безо всякого разжевывания была понятна дворянским гимназистам времен Крымской войны. Общие места Соловьева „до сих пор", видите ли, „слишком мало принимались в соображение теми писателями, которые задумывались о причинах относительной самобытности русского исторического процесса".

Между тем, если даже на минуту отнестись серьезно к обобщению Соловьева и признать за ним не только педагогический, но и некоторый научный смысл, то оно *фактически* верно лишь для „Российской империи" начала царствования Екатерины II, для середины XVIII столетия. Только оставаясь в пределах этого периода—когда еще не вошли в сельскохозяйственую эксплоатацию южно-русские степи,—и принимая Россию за чисто земледельческую страну, можно говорить об однообразии природных форм". Уже для конца царствования

[1] Такой анекдот был не более, не менее, как с Лермонтовым. Не смейтесь!

Екатерины, 1790-х годов, утверждение было бы устарелым: распашка „новороссийского" чернозема создала два *типа* земледельческого хозяйства, типа, разница которых была настолько глубока, что ею обосновалось подклассовое деление класса русских землевладельцев, деление, легшее в основу конфликтов, связанных с „крестьянской реформой". „Освобождение крестьян" выглядело бы иначе — и не так нуждалось бы в кавычках, если бы у нас существовал только один тип, нечерноземного помещика, дворянина-манчестерца, и не было другого типа, черноземного, степного помещика-плантатора. Если же мы возьмем *промышленный* период русского развития XIX в., то нам придется привлечь к делу и криворожскую руду, и донецкий уголь, и бакинскую нефть, и туркестанский хлопок, и мы наткнемся на такое *разнообразие* природных условий, которое побьет все европейские рекорды, и найдет себе соперника только в Америке, в Соединенных Штатах. Для Соловьева, в 1850-х годах, это было *будущее*—и, как историк, он не обязан был с ним считаться, но для Плеханова, выпускавшего свою книгу в 1914 году, это было уже *прошлое*—игнорировать его значило отказаться от об'яснения ближайшей к нам, и самой интересной для марксиста, части русского исторического процесса.

Итак, что дало исходный толчок развитию производительных сил на русской равнине, остается невыясненным: мы узнаем, в сущности, лишь, в чем заключался географический фундамент российского „единодержавия" по мнению русских историков конца царствования Николая I. Проще говоря, приступая к изучению „Истории русской общественной мысли", читатель Плеханова—ежели он только не прочел раньше хотя бы Ключевского—о „географической среде", ничего не знает. Зато он узнает хоть, как развивались самые-то производительные силы? Увы—и этого нет. Он убедится только лишь еще раз, что Плеханов ценил историков, как доброе вино: чем старше, тем лучше.

Пленившись одним обобщением I тома соловьевской „Истории России с древнейших времен" (напомним еще раз, что этот том вышел в начале 1850-х годов), Плеханов приводится в еще больший восторг другим обобщением—все того же типа. „Великая равнина—продолжает он выписывать Соловьева—открыта на юго-востоке, соприкасается непосредственно с степями Средней Азии, толпы кочевых народов с незапамятных пор проходят в широкие ворота между Уральским хребтом и Каспийским морем и занимают привольные для них страны в низовьях Волги, Дона и Днепра... Азия не перестает высы-

лать хищные орды, которые хотят жить на счет оседлого народонаселения: ясно, что в истории последнего одним из главных явлений будет постоянная борьба со степными варварами".

Глубина этого обобщения не больше, чем предыдущего. Его связь с практическими задачами русской политики времен Соловьева и его фактическая несостоятельность мною подробно разобраны в другом месте [1], и я позволяю себе здесь к этому не возвращаться. Здесь для нас важно, что оно еще раз, и уже окончательно, сбивает Плеханова с той дороги, которую он сам считал единственно правильной.

„Как же повлияла эта продолжительная борьба с кочевниками на внутреннее развитие России?"—спрашивает Плеханов, и вы чувствуете трепет человека, который, наконец, нашел ключ к давно мучившей его загадке. „С. М. Соловьев делает лишь некоторые намеки на решение этого важного вопроса. Сам он не принадлежит к числу тех историков, которые приписывали борьбе с кочевниками решающее влияние на судьбу русского племени. Известно его замечание о татарах: „татары (после покорения Руси. Г. П.) остались жить вдалеке, заботились только о сборе дани, нисколько не вмешиваясь во внутренние отношения, оставляя „все, как было". Но другие кочевые народы, — предшествовавшие татарам в своих столкновениях с русским племенем,—еще меньше татар „вмешивались во внутренние отношения". Поэтому мы должны понимать С. М. Соловьева в том смысле, что все эти другие кочевники еще более, чем татары, „оставляли все, как было". А если это так, то в чем же сказалось влияние борьбы с кочевниками на внутреннюю историю России? Соловьев признавал, как видно, что, оставляя „все, как было", кочевники своим влиянием замедляли или ускоряли естественное развитие внутренних отношений русского общества. „Мало того, что степняки или половцы сами нападали на Русь—говорит он, —они отрезывали ее от черноморских берегов, препятствовали сообщению с Византиею. Русские князья с многочисленными дружинами должны были выходить навстречу к греческим купцам и провожать их до Киева, оберегать от степных разбойников; варварская Азия стемится отнять у Руси все пути, все отдушины, которыми та сообщалась с образованною Европой". Но если это так, то очевидно, что и кочевники повлияли на нашу внутреннюю историю прежде всего,—и может быть, главным образом,—тем, что замедлили наше экономи-

[1] «Вестник Социалистической Академии», №№ 2 и 4—см. ниже, стр. 69.

ческое развитие. К сожалению, С. М. Соловьев не останавливается на рассмотрении этого важного вопроса... Кочевники „*только*“ опустошали Русь или брали с нее дань. Поэтому С. М. Соловьев говорит, что они оставляли все, как было. Но если опустошения *задерживали* внутреннее развитие того, что было, то они тем самым могли придать этому развитию новое направление, более или менее отличное от того, которое оно получило бы при другом историческом соседстве. Конечно, *разница в быстроте* развития есть лишь *количественная* разница. Но, постепенно накопляясь, количественные различия переходят, наконец, в качественные. Кто знает? Может быть, опустошая Русь и, стало быть, замедляя рост ее производительных сил, хищные номады способствовали возникновению и упрочению известных особенностей и в ее политическом строе“...

Попав на эту зарубку, Плеханов так и не сходит с нее уже до конца. О развитии производительных сил России читатель от него ничего не узнает, если не считать беглых, попутных замечаний по поводу „поистине замечательного труда“ В. А. Келтуялы („Курс истории русской литературы“) на стр. 37—45 I тома „Истории общественной мысли“. Начавшись довольно правильными соображениями насчет относительного значения лесных промыслов и земледелия в древне-русском хозяйстве, и кончаясь весьма сомнительного достоинства рассуждениями о превосходстве меча над саблей (или сабли над мечом—Плеханов оставляет вопрос открытым): никакого *влияния* на ход исторического процесса различных военно-хозяйственных фактов эти замечания не устанавливают. Характерно только явное отклонение от экономического момента (земледелие—лесные промыслы—скотоводство) к военно-техническому (сабля—меч); тенденция—подальше от экономики, поближе к политике—чувствуется все определеннее. Скоро она окончательно берет верх. Ни мало не смущаясь фактом, что „производительные силы“ попрежнему для него и его читателя остаются иксом, Плеханов все свое внимание сосредоточивает на вопросах: какие *политические* причины задерживали развитие этого икса и какие *политические* последствия эта задержка имела?

Он явно досадует, что Соловьев не сумел извлечь из своего нового общего места—пресловутой, всем нам чуть не в детстве столь надоевшей, „борьбы со степью“—всех возможных логических последствий („С. М. Соловьев делает лишь некоторые намеки на решение этого важного вопроса. Сам он не принадлежал к числу тех историков, которые приписывали

борьбе с кочевниками решающее влияние на судьбу русского племени"; на самом деле это неверно: Плеханов считался только с „Историей" и упустил из виду последнюю, предсмертную статью Соловьева, где все строится на борьбе „леса" и „степи"). И он спешит этот пробел пополнить. У него-то уже ничто не увильнет от этого „классического" об'яснения—ни классовый состав русского общества, ни его, этого общества, политическое возглавление.

Почему Россия больше похожа на Азию, чем на Европу? Ключевский, в своем географическом обзоре, приводит ряд остроумных сближений, показывающих, как русская равнина в целом ряде отношений (пропорция моря и суши, устройство поверхности и т. д.) ближе к своим соседкам на восток, равнинам северной и средней Азии, нежели к Западной Европе. От Вислы и Карпат до Великого океана мы имеем, в сущности, *один* географический комплекс. Не следует преувеличивать исторического влияния этого сходства, но что однообразие, например, водных речных путей, так привычных русскому, очень облегчало быстрое продвижение на восток наших сибирских конквистадоров, а следом за ними и быструю колонизацию Сибири, это не подлежит сомнению, как и то, что, будь вместо равнины в этом направлении хороший горный хребет, в роде Кавказского, и завоевание, и колонизация наткнулись бы на затруднения, для XVII века неодолимые,—о завоевании Кавказа и обрусении Закавказья до XIX века русскому империализму не приходилось и думать. В Сибири же не приходилось над этим задумываться. В сближениях Ключевского есть несомненный смысл для историка-материалиста. Но Плеханова это мало интересует. Для него „азиатизм" России—которому он придает даже преувеличенное значение—имеет совсем другой источник. Он берет не географическую характеристику Ключевского, а другое место „Курса", где тот об'ясняет не сходство России и Азии, а основные мотивы русских былин, „углубляет" мысль московского историка—и получает то, что требовалось.

„Борьба со степным кочевником, половчином, злым татарином, длившаяся с VIII почти до конца XVII в.,—говорит проф. Ключевский,—самое тяжелое историческое воспоминание русского народа, особенно глубоко врезавшееся в его памяти и наиболее ярко выразившееся в его былевой поэзии. Тысячелетнее и враждебное соседство с хищным степным азиатом—это такое обстоятельство, которое одно может покрыть не один европейский недочет в русской исторической жизни". „Это справедливо, может быть, более, чем предполагал сам

проф. Ключевский. Даже те „европейские недочеты", которые, на первый взгляд, не имеют прямого отношения к тысячелетнему соседству с кочевниками, при более внимательном рассмотрении оказываются следствиями замедленного борьбой с кочевниками экономического развития России".

Хотите ли вы знать, почему у нас не сложилось могущественной феодальной аристократии, подобной Западу или хотя бы Польше? Ларчик открывается просто. „Мы уже знаем, что борьба с кочевниками, увеличивая власть князя, как военного сторожа русской земли, вместе с тем замедляла экономическое развитие Руси, чем мешала возникновению в ней,—за исключением Волыни и Галиции,—влиятельного боярства, способного выставить определенные политические требования и, в случае надобности, поддержать их силой. Те условия, в которых очутилось русское население, перебравшееся с юго-запада на северо-восток, еще более усиливали эти „европейские недочеты в русской исторической жизни" и тем содействовали постепенному сближению русского общественного быта и строя с бытом и строем великих восточных деспотий".

И уже легче легкого из той же универсальной причины вывести московское самодержавие. Тут даже можно сослаться на Энгельса. „Чтобы обезопасить себя от внешних нападений,—например, от набегов тех же кочевников, которые и на северо-востоке не оставляли в покое русского земледельца,—обитатели подобной деревни будут расположены поддерживать всеми зависящими от них средствами усиление центральной власти, сосредоточивающей в своих руках оборону страны, и расширение подчиненной ей территории: чем больше такая территория, тем больше людей может быть привлечено к делу ее обороны. И мы в самом деле видим, что северо-восточные русские крестьяне охотно способствуют увеличению княжеской власти и расширению государственной территории. Знаменитое „собирание Руси" великими московскими князьями могло итти так успешно только потому, что „собирательная" политика пользовалась горячим сочувствием со стороны народа. Но в то же время северо-восточные русские земледельцы, рассеянные в лесной глуши и разбитые на крошечные поселки, были бессильны против притязаний и злоупотреблений этой, их же нуждами и их же сочувствием укрепившейся, *центральной* власти: крошечная деревенька в два-три двора могла оказывать только пассивное сопротивление московским посягательствам на ее свободу, а все остальные деревеньки были слишком разобщены с нею, чтобы поддержать ее в роковую для нее минуту; напротив, они же и дали бы Москве средства для борьбы с „воровством" непо-

корных поселков. Если, по замечанию Энгельса, деревенские общины всюду, от Индии до России, служили экономической основой деспотизма, то одна из самых главных причин этого явления лежит в условиях натурального хозяйства, исключающих *экономическое* разделение труда и разбивающих все земледельческое население обширного государства на небольшие группы, не нуждающиеся одна в другой, а потому и равнодушные друг к другу, именно, в силу полного тождества их экономического и общественного положения" [1].

А чтобы читатель от этой мысли Энгельса не впал, чего доброго, в „экономический" материализм, в примечании назидательно напоминается: „К этому надо прибавить уже хорошо знакомое нам влияние кочевников, которое теперь выражалось, между прочим, в следующем: со времени татарского господства князья усилили владычество на земле и на живущих на ней, потому что должны были отвечать за исправность платежей, следовавших ханам с земли и ее обитателей" („Промышленность древней Руси", Н. Аристова. СПБ. 1866, стр. 49).

Это ли не мастерство—сочинение специально по *экономической* истории России использовать для того, чтобы лишний раз отгородиться от экономики и восстановить „чистую политику" в ее неот'емлемых правах?

Ибо основная задача Плеханова в том и состояла, чтобы поставить незаслуженно возвеличивавшуюся им в 1890-х годах экономику „на свое место". Наивно было бы думать, что этот тонкий наблюдатель не замечал банальности и поверхностности обобщений Соловьева, которыми он восхищается. Соловьев был нужен Плеханову, чтобы помощью солидного авторитета обосновать собственную мысль: в России экономика давала лишь самый сырой, первичный материал, в образе „натурально-хозяйственных отношений". Все формы лепила из этого сырого теста политика. Та политика, самодовлеющего значения которой упорно не хотели понимать большевики, выдвигавшие на первое место национализацию земли, диктатуру пролетариата и крестьянства и тому подобные, русской серости совсем не приличные вещи. Надо было показать, что в формально-политическом моменте, трактуемом большевиками так презрительно, вся суть дела. Что прав был Плеханов и кадеты, когда они советовали сначала обеспечить себе эту формально-политическую сторону, завоевать хорошую конституцию, а потом уже разговаривать о захвате власти. Действовать наоборот значило итти против течения всего русского исторического потока: и

[1] «История русской общественной мысли», т. I, стр. 52, 55, 74—75.

надо было это показать невежественным людям. Формально-политический момент, воплощенный в созданной потребностями национальной обороны государственной власти, сотворил Россию со всем ее общественным строем,—а они этот момент игнорируют.

И вот, со ступеньки на ступеньку, мы у знаменитой *теории закрепощения*. „Значительно отставая от своих западных соседей в хозяйственном отношении, Московская Русь XVII-го века вела с ними продолжительные войны. Вследствие этого ей пришлось затрачивать все большую и большую долю своих средств и сил на поддержание органов самозащиты. В стране, продолжавшей оставаться *колонизующейся* страною, это роковым образом вело ко все большему и большему закрепощению всех слоев населения, а в особенности трудящейся массы, для непосредственной или посредственной службы государству... Общественно-политический быт русского государства представлял собою как бы двух'ярусное здание, в котором закрепощение обитателей нижнего яруса оправдывалось закрепощением обитателей верхнего: крестьянин и посадский человек были закрепощены для того, чтобы дать дворянину экономическую возможность нести свою крепостную службу государству... При сопоставлении этой особенности с тою, которую мы отметили, сравнивая общественно-политический строй Московского государства со строем западно-европейских стран, у нас получается следующий итог: государство это отличалось от западных тем, что закрепостило себе не только низший земледельческий, но и высший служилый класс, а от восточных, на которые оно очень походило с этой стороны, тем, что вынуждено было наложить гораздо более тяжелое иго на свое закрепощенное население“ [1].

Теории этой пишущий настоящие строки отдал достаточно внимания в своей статье „Откуда взялась теория внеклассового происхождения русского самодержавия?“ [2]. Повторять детально развитую там аргументацию не имеет смысла, напомню только, что родоначальником теории является Б. Н. Чичерин, идеологический предок позднейшего „Союза 17 октября“, и что сложилась она в эпоху „освобождения крестьян“, когда Чичерину даже Герцен казался ярко-красным якобинцем. В названной статье выяснены и причины долговечности схемы, понадобившейся первоначально собственно русскому помещичьему центру перед 19 февраля. Классовое происхождение схемы вне со-

[1] Там же, стр. 203—204, 107, 86.

[2] „Вестник Социалистической Академии“ №№ 1, 2 и 4. См. ниже, стр. 55 и сл.

мнения, и усвоение ее Плехановым служит лучшей иллюстрацией того, к чему приводит уклонение от принципов исторического материализма, когда-то так красноречиво развитых тем же Плехановым.

С первого взгляда может показаться, что Плеханов просто усвоил себе *буржуазное* понимание русского исторического процесса и что он никакой более или менее оригинальной „группировки людей" не представляет. Дело, однако, не так просто. Буржуазная схема понадобилась ему не сама по себе, а как *средство* для обоснования некоторой, опять-таки *своей* мысли. Эту свою мысль он формулировал так на стр. 110-й: „Но одной из замечательных особенностей русского исторического процесса явился тот факт, что наша борьба классов, чаще всего остававшаяся в скрытом состоянии, в течение очень долгого времени не только не колебала существовавшего у нас политического порядка, а, напротив, чрезвычайно упрочивала его".

Итак, открытая борьба классов не характерна для русской истории. Потребности государственной обороны притушили эту борьбу и, во всяком случае, отодвинули ее на второе место. Оттого и „промежуточные", „внеклассовые" партии, вроде кадетов, могут у нас играть совсем иную роль, чем на Западе. И не только „так было", но и „так будет": потребности обороны всегда будут сглаживать классовые противоречия. „Ход развития всякого данного общества, разделенного на классы, определяется ходом развития этих классов, и их взаимными отношениями, т.-е., во-первых, их *взаимной борьбой* там, где дело касается внутреннего общественного устройства, и, во-вторых, их более или менее дружным *сотрудничеством* там, где заходит речь о защите страны от внешних нападений. Стало быть, ходом развития и взаимными отношениями классов, составлявших русское общество, и должно быть об'яснено неоспоримое *относительное* своеобразие русского исторического процесса". [1].

„Относительное своеобразие русского исторического процесса" заранее обосновывало оборончество группы „Единство". Мы видим, до какой степени близоруко было бы причислять Плеханова к сонму тех социал-демократов, которых неожиданный сюрприз войны загнал в лагерь „защитников отечества". Первый том его „Истории" уже вышел из печати, когда еще, кажется, и Фердинанд австрийский был жив и когда говорить о надвигающейся войне считалось для доброго марксиста безу-

[1] „История русской общественной мысли", т. I, стр. 11.

словно неприличным: стыдно помогать рекламе пушечных заводчиков. Не испуг, а *теория* загнала Плеханова к оборонцам—теория, отражавшая интересы отнюдь не класса предпринимателей (которые, в России, и оборонцами стали далеко не сразу), а их образованных слуг, того слоя, который можно назвать *технической интеллигенцией*.

Этот слой уже успел создать на Руси свою идеологию. То была идеология „легального марксизма", не отрицавшего влияния бытия на сознание, но отрицавшего классовую борьбу и воспевавшего, в лице Струве, внеклассовое государство. Этот марксизм без революции был вполне приемлем и для левого крыла кадетов, многие из которых, в теории, мало отличались от правых меньшевиков.

Этому слою нужна была не только своя „внеклассовая" власть, но и своя „философия русской истории"—не революционная, ибо он смутно предчувствовал свою судьбу в дни массового революционного движения (уже в декабре 1905 г. его принудительно заставляли питаться черным хлебом), но все же почти материалистическая, с классами, но без борьбы классов по возможности. Во внешней политике этот слой был бо́льшим патриотом, нежели предприниматели, ибо он представлял интересы русского капитализма в целом, как такового, а рядовой предприниматель представлял интересы только своего собственного капитала. „Оборона страны" для него была менее звуком, чем для „толстосума" (с толстой сумой везде хорошо),—и он громче и искреннее кричал „ура", чем кто бы то ни было, когда Германия на нас „напала" в 1914 году.

Этому слою нужен был свой идеолог—и он нашел его в лице Плеханова после 1905 года. Последний не просто поддался влиянию буржуазных книжек. Буржуазные книжки были ему нужны для обоснования его собственных мыслей—но обосновывал-то он теперь не наступательные стремления пролетариата, а оборонительные со всех сторон стремления того общественного слоя, который командовал пролетариатом от имени капитала, но не прочь был стать командиром и от своего собственного имени.

„Под Знаменем Марксизма"
1923 г., №№ 6—7.

Правда ли, что в России абсолютизм „существовал наперекор общественному развитию“?

Тов. Л. Д. Троцкий очень хорошо сделал, что переиздал свои очерки, посвященные истории первой рабочей революции в России. Не говоря уже о том, что у нас для эпохи 1905—1907 годов нет пока никакого своего *руководства* (есть два, изданных меньшевиками, но для нас они могут иметь значение лишь сборников материала), и основные главы книги тов. Троцкого помогают до некоторой степени пополнить *этот* пробел,—книга великолепна, как книга, сама по себе. Она писалась по свежим следам событий (кое-что еще в 1905 г., самое позднее в 1908—1909 г.г.) и сохранила весь *аромат* нашей революционной весны. Теперь так не напишешь, какие источники под руками ни имей. Позднейшие руководства будут полнее с фактической стороны, сумеют сообщить такие детали, которых т. Троцкий в свое время не мог знать, следя за перипетиями борьбы лишь с одной стороны баррикады, но такой поэмы в прозе о 1905 годе они не дадут.

Если прибавить, что в книге там и сям разбросаны ценнейшие детали чисто-мемуарного характера (чего стоит хотя бы картинка салонной революции в гостиной баронессы Икскуль, набросанная на стр. 169—170 книги!), мы поймем, что не только изучающим она, пока что, заменит руководство, но и тем, кто будет писать такие руководства, без помощи „1905“ не обойтись.

Идейное содержание книги так значительно, что оно, конечно, будет еще предметом долгих дебатов в партийной прессе. Не отказывая себе в удовольствии принять участие в этих дебатах, сейчас пишущий эти строки хотел бы коснуться вопроса, с точки зрения основной задачи книги, может быть и второстепенного, но отнюдь не лишенного крупного практического, точнее говоря—*педагогического* значения. Повто-

рим еще раз, рискуя надоесть читателю: книга, пока что, заменяет несуществующее руководство. Ее будут *изучать*. И так как речь идет об авторе, *каждое* слово которого имеет исключительный вес, каждое положение книги отпечатлеется в тысячах юных мозгов. А, благодаря лапидарно-художественному стилю, каким книга написана, этот отпечаток может оказаться настолько прочным, что потом уже десятки книг, менее талантливых литературно и подписанных менее авторитетными именами, его не сотрут.

И тут приходится сказать прямо: хорошо, что тов. Троцкий переиздал свои очерки, нехорошо, что он их переиздал целиком без пропусков. То, что было полезно и даже необходимо в 1908—1909 г.г. заграничной публике, с ее безграничным невежеством в русском прошлом,—совсем не нужно теперешней молодежи, кое-чему уже научившейся. И есть опасность, что теперь начнут переучиваться: ведь, легкое дело—*Троцкий* сказал!

Это относится, главным образом, к вступительным главам, а в особенности к *первой* главе: „Социальное развитие России и царизм". Главы эти—и особенно первая—имеют дать *схему* русского исторического развития *до* начала революции. Как всякая схема, ясная и отчетливая, схема тов. Троцкого легко запоминается и усваивается. И это очень жаль. Ибо схема эта, во-первых, *не наша;* а во-вторых, *об'ективно неверна.*

Постараемся доказать то и другое.

„Русское государство, возникшее на примитивной экономической основе, столкнулось на своем пути с государственными организациями, которые сложились на более высоком экономическом базисе. Здесь открывались две возможности: русское государство должно было либо пасть в борьбе с ними, как пала Золотая Орда в борьбе с московским царством, либо оно должно было *обгонять развитие своих собственных экономических отношений*, поглощая под давлением извне несоразмерно большую часть жизненных соков нации..." „...Чтобы удержаться против лучше вооруженных врагов, русское государство было вынуждено заводить у себя промышленность и технику, нанимать военных специалистов, государственных фальшивомонетчиков и пороховщиков, доставать учебники по фортификации, вводить навигационные школы, фабрики, тайных и действительных тайных советников..." „В результате этого давления Западной Европы *самодержавное государство* поглощало непропорционально большую долю прибавочного продукта, т.-е. *жило за счет формировавшихся привилегиро-*

ванных классов и тем задерживало их и без того медленное развитие...“ „В своем стремлении к созданию централизованного государственного аппарата царизму приходилось не столько тягаться с притязаниями привилегированных сословий, сколько бороться с дикостью, бедностью и разобщенностью страны, отдельные части которой жили вполне самостоятельной экономической жизнью. *Не равновесие экономически-господствующих классов, как на Западе, а их социальная слабость и политическое ничтожество создали из бюрократического самодержавия самодовлеющую организацию...*“ „Чем централизованнее государство и чем независимее от господствующих классов, тем скорее оно превращается в самодовлеющую организацию, стоящую над обществом...“ [1].

Что это такое, как не теория *внеклассового государства*, которую развивал Милюков без помощи марксистской терминологии и Струве с помощью последней? Пусть тов. Троцкий отмежевывается от Милюкова на стр 19 (характерно, что он почувствовал эту потребность!): все же, стоя на своей позиции, он не может сказать о кадетском историке больше, чем что схема того есть „страшное преувеличение“. Преувеличение *чего?* Ошибки или правильного в основе понимания русского исторического процесса? Ясно, что последнего...

В самом деле, какой же *класс* или *классы* представляло в русской истории самодержавие? Не „привилегированные“— это ясно из приведенных цитат: самодержавие стояло *над* ними. Тогда, может быть, *не* привилегированные? Но этот вопрос— чисто-риторический: не может же тов. Троцкий стоять на точке зрения „социальной монархии“. Значит, никаких классов самодержавие не представляло, оно стояло *над* классами— что, впрочем, на стр. 21 и сказано всеми словами („самодовлеющая организация, стоящая *над* обществом“).

Понятно, зачем кадетским историкам нужно было поддерживать иллюзию *внеклассового* русского самодержавия. Внеклассовая верхушка русского государства предполагала и возможность внеклассовой перестройки этой верхушки. Самодержавие должно было быть заменено конституционной монархией: но при чем тут классы? При чем пролетариат и крестьянство? От них можно отделаться уступками в „социальной“ области (8-часовой рабочий день „по возможности“, наделение крестьян землею за выкуп). А политическая власть должна остаться „внеклассовой“—то-есть *буржуазной.*

[1] „1905“, стр. 16—21, passim. Курсив везде наш. *М. П.*

Повторяем, с кадетской политикой все это великолепно вяжется. Но как это связать с нашими призывами к пролетариату—бороться с буржуазией *за власть?* Как это отнимать у буржуазии то, чего она сама не имела? Зачем вообще осложнять борьбу с „внеклассовым" самодержавием классовыми мотивами? Надо бороться с бюрократией, с армией, с полицией, а за что припутывать тут буржуазию? Ведь самодержавие жило и на ее счет („жило за счет формировавшихся привилегированных классов и тем задерживало их развитие", стр. 18). Это самое говорили кадеты против большевиков: осложняют борьбу, направляют энергию не по надлежащему руслу, тратят ее зря, словом—косвенно, по неразумию, *помогают абсолютизму.* Это самое и говорили кадеты, вполне последовательно применяя к текущей политике свою историческую теорию—внеклассового самодержавия.

Нет, это не наша теория—и нехорошо прикрывать ее одним из авторитетнейших имен. Тем более, что в прошлом она уже имеет за собою одно — имя Плеханова, который попал на ту же дорогу (и затем пошел гораздо дальше): сначала, в 1905 — 1907 годах, стал применять кадетскую теорию на практике, а потом, в 1913 — 1914, истолковал при ее помощи русскую историю (для читавших введение к „Истории русской общественной мысли" вводные главы книги тов. Троцкого уже прозвучали, конечно, очень знакомо). С этой теорией необходимо бороться самым решительным образом, не менее энергично, нежели мы боремся теперь с религиозными предрассудками. Я даже скажу больше: не так важно доказать, что Иисус Христос, исторически, не существовал, как то, что в России никогда не существовало внеклассового государтва.

По отношению к *новейшему* времени дело, впрочем, обстоит и сейчас гораздо благополучнее, чем может показаться читателю „1905". Оспаривать классовый характер буржуазных реформ Александра II, анти-буржуазный, т.-е. тоже классовый, характер контр-реформ Александра III, классовое значение закона 9 ноября 1906 года или цензовой системы выборов в Государственную Думу не решился бы теперь и ни один из кадетских историков. Во всяком случае, крупнейший *народнический* авторитет в области русской истории, покойный В. И. Семевский, до конца жизни негодовавший на попытки дать классовую характеристику декабристов, охотно соглашался, что главы о крестьянской реформе в „Истории России XIX в." (гранатовское издание) есть „лучший сжатый очерк" по этому вопросу, какой существует в русской литературе: а эти главы выдержаны с самой определенной классовой точки зрения. Теперь

даже и Милюков, в последнем фазисе своей эволюции, соглашается признать стержнем всего революционного движения в России *борьбу крестьян за землю:* т.-е. чисто классовый момент (см. введение ко 2-му изданию его „Истории русской революции"). А классовому напору снизу соответствовал, само собою разумеется, и классовый же отпор сверху: если суть революции была в стремлении крестьян захватить помещичью землю, то суть реакции, очевидно, выражалась в стремлении защитить помещичью собственность. И орган этой реакции, самодержавие, было, стало быть, классовым дворянским правительством.

Мы боимся продолжать эти трюизмы—боимся услыхать негодующий голос тов. Троцкого, заявляющего, что он сам все это отлично знает. Конечно, знает: нельзя себе представить ни одного марксистского агитатора, не то что Троцкого, который бы его не знал. Но написалось-то у т. Троцкого как раз противоположное: и есть серьезные основания опасаться, что, прочитав „новую" теорию, рядовые-то агитаторы начнут переучиваться...

Но если с временами новейшими дело обстоит благополучно, не так просто стоит вопрос *о возникновении русского самодержавия.* Этот вопрос, о возникновении русского абсолютизма, и оказался тем крючком, на который буржуазные историки поймали двух чрезвычайно крупных марксистских рыб. Поймали потому так легко, что марксисты тут, в этом вопросе, были перед ними совершенно беззащитны: ибо существующие буржуазные книжки для *материалистического* об'яснения факта, разумеется, ничего не дают. И не дают даже не потому, что сознательно хотят втереть очки, замазать истину, а просто потому, что сами смотрят совсем в другую сторону; не питая ни малейшего сомнения насчет догмата внеклассового государства, буржуазные историки и не ищут, конечно, экономической базы самодержавия. Им нужно об'яснение *политическое;* его они находят, вполне удовлетворительное, с их точки зрения, *в интересах военной обороны от внешнего врага.* Почему Русь сплотилась около Москвы? Нужно было защищаться от татар. Ясно и просто.

К чести исторического вкуса тов. Троцкого, его это банальное об'яснение не удовлетворило. „Борьба с крымскими и ногайскими татарами вызывала большое напряжение сил. Но, разумеется, не большее, чем вековая борьба Франции с Англией. Не татары вынудили Русь ввести огнестрельное оружие и создать постоянные стрелецкие полки; не татары заставили впоследствии создать рейтарскую конницу и солдатскую пехоту" (стр. 16). Казалось, тут-то бы и сказать: *не военные,* т.-е. не

политические интересы лежали в основе, а *экономические;* московское самодержавие отвечало чьим-то *классовым* интересам. Но так как ни одного факта, ведущего в этом направлении, у т. Троцкого в 1909 году не было (у Плеханова в 1913 уже были — но на том так крепко сидели тогда кадетские шоры, что он их не пожелал видеть), то он был перед Милюковым— его несомненным источником в данном вопросе — совершенно беспомощен. Он попробовал только среди фактов, какие он мог найти в кадетской историографии, найти более приличные, с точки зрения марксиста. И попытался несколько уточнить „военную" гипотезу: не примитивные потребности борьбы с татарскими грабежами, а борьба *с западными* странами выковала военную диктатуру московского царя. „Тут было давление Литвы, Польши и Швеции".

Но где тонко, там и рвется. Об'яснение „от татар" было, конечно, очень плоское и банальное—зато *окончательное.* Ибо татары приходили Русь *грабить*—и только: тут был, действительно, вопрос *самосохранения:* буржуазным историкам оставалось только раздуть до беспредельности этот, сам по себе несомненный, только вовсе не очень значительный, факт. А вот из-за чего же с „Литвой, Польшей и Швецией" началась драка? Это же, ведь, не просто степные разбойники? У них-то были какие-то экономические побуждения нападать на Русь (допустим на минуту, что нападали, действительно, они: сейчас мы увидим, что было наоборот)? Какие же? Стремление заполучить в свои руки ценное русское сырье— каменный уголь, нефть, железную руду? Но позвольте—ведь, это было за двести лет до изобретения машин, и о пользе каменного угля и нефти тогда никто и не думал; равномерно никто не подозревал, что в пределах России имеется хорошая железная руда — она была открыта на Урале гораздо позже. Чего же им было нужно?

Заставим, по возможности, говорить современников. Вот один из врагов московской России XVI в.—Польша. Польский король Сигизмунд *об'ясняет* английской королеве Елизавете, почему Польша должна была заблокировать Нарву (дело происходит в разгаре Ливонской войны между московским царством и польско-литовским, в 1568 году): „...Как мы писали прежде, так пишем и теперь к вашему вел-ву, что мы знаем и достоверно убеждены, что враг всякой свободы под небесами, московит, ежедневно усиливается по мере большого подвоза к Нарве разных предметов, так как оттуда доставляются ему не только товары, но и оружие, доселе ему неизвестное, и мастера, и художники: благодаря этому он укрепляется для

победы над всеми прочими государями. Этому нельзя положить предела, пока будут совершаться эти плавания в Нарву“ [1].

Из-за чего же шла война между Польшей и Россией? Из-за морского порта, из-за Нарвы. Вообще говоря, *из-за торговых путей.* Король Сигизмунд пытался уверить Елизавету, что если открыть этот торговый путь москвитянам, оттого будет непоправимый вред „всему христианству“ (тогда, какую бы пакость дипломаты ни замышляли, они всегда ссылались на интересы „всего христианства“: совершенно так, как теперь говорят об „интересах человечества и цивилизации“). Царь Иван смотрел, конечно, на дело с противоположной точки зрения (и Елизавета была на его стороне). Почему же он затеял драку за торговые пути?

Дадим слово другому современнику. Лет за пятьдесят до Ливонской войны был в России послом от германского императора барон Герберштейн. Он очень заинтересовался этой страной, тогда столь же новой для западных европейцев, как в XIX веке Китай или Япония, и оставил весьма добросовестное описание всего, что видел. Так как дело происходило около 1530 года, казалось бы, Герберштейн должен был найти у москвитян такое „натуральное“ хозяйство, что хоть орангутангам впору: ведь, Милюков уверял своих читателей, что еще в конце XVIII века русский помещичий дом представлял собою вполне самодовлеющее хозяйственное целое. Но за триста почти лет до этого немецкий барон имел случай испытать на собственной шкуре всю несостоятельность кадетской историографии. „Ростовщичество — жалуется он—чрезвычайно распространено: и хотя они (московиты) и называют его большим грехом, тем не менее никто от этого греха не воздерживается. Размеров оно достигает невыносимых: нередко один с пяти, то-есть 20%. Не столь жестоки, кажется, церкви: они, как говорят, берут и десять со ста“.

Не только налицо развитой денежный оборот, но уже успели выказаться явные преимущества *крупного* капитала: „церкви“—т.-е. собственно *монастыри,* — оперирующие более крупными суммами, берут вдвое меньше мелких ростовщиков. Совершенно как у нас в конце XIX века: помещик в банке получал деньги под залог имения из 6—7%, а крестьянин кредитовался у мелкого сельского кулака из 40%.

Но позвольте, скажет читатель: ростовщичество, ведь, это еще не бог весть что, в смысле развития товарного хозяйства.

---

[1] „Первые сорок лет сношений между Россий и Англией, 1553—1593. Грамоты, собранные и изданные Ю. Толстым“, стр. 32—33.

Ведь, вот они все же рост грехом считали, значит нормой-то было именно натуральное хозяйство. Приведем еще выдержку из того же источника, немного выше:

„Просил я одного боярина (consiliarium Principis) помочь мне в покупке мехов, чтобы меня не обманули: он сейчас же обещал мне свое содействие, а потом стал тянуть дело. Хотел мне навязать свои собственные меха; а в то же время к нему стали сбегаться торговцы, обещая премию (!), ежели сбудет мне их товары по хорошей цене“ [1].

Итак, дело шло вовсе не о мелком деревенском ростовщичестве — на котором, впрочем, и не смог бы вырасти крупный капитал монастырей; был рынок, были крупные торговые обороты, и в них принимали участие виднейшие люди страны, члены боярской думы.

Широта этих торговых оборотов,—т.-е. широта в пространственном смысле: по суммам тогдашний рынок был, конечно, в сотни раз уже даже теперешнего, послевоенного — нас, сбитых с толку нашей железнодорожной сетью и созданной ею новой экономической географией, способна привести прямо в остолбенение. Кто бы подумал, что Дмитров (Московской губ.) и Вязьма могли быть центрами *международного* обмена? А между тем послушайте Герберштейна. „Дмитров город с кремлем, от Москвы немного к северо-западу, отстоит на 12 миль (Г. везде считает немецкие мили по 7 верст). Через него протекает река Яхрома, впадающая в Сестру, а Сестра в Дубну, впадающую в Волгу. Благодаря такому удобному расположению рек, там много торговцев, которые привозят товары с Каспийского моря по Волге и распространяют их, без большого труда, в разные стороны, вплоть до Москвы“. „Под городом Вязьмой река того же имени недалеко оттуда, в двух, кажется, верстах, впадает в Днепр: оттуда груженые товарами суда спускаются в Днепр, и потом снова поднимаются по Днепру до Вязьмы“. Таким путем шли в Литву товары из Москвы и с ярмарки в Холопьем городке (на устье Мологи). Герберштейн сам ехал этой дорогой, из Орши через Смоленск, при чем багаж посольства шел на судах до Вязьмы [2].

При таком расположении торговых путей не мудрено, что деревянная посуда, которую выделывали калужские кустари, шла за границу, в ту же Литву. Что же касается социального удельного веса московских людей XVI века, заинтересованных в коммерции, то вот какой анекдот, лет 40 спустя, случился

[1] „Rerum Moscovticarum auctores varii“, стр. 44 и 43.
[2] Ibid, стр. 57 и 52—53.

с англичанами, тогда уже открывшими путь в Россию через Белое море. „Перед приездом *Бауса* (посла Елизаветы) в Москву голландская компания хлопотала об уничтожении торговых льгот, данных англичанам московским правительством, и приобрела себе в Москве друзей — Никиту Романова (*NB.* родоначальника романовской династии. *М. П.*), Богдана Бельского и Андрея Щелкалова, ибо, кроме ежедневных подарков этим советникам царским, голландцы заняли у них столько денег по 25 процентов, что платили одному из них ежегодно по 5.000 рублей; английские же купцы не имели в это время при дворе ни одного доброжелателя“ [1].

Итак, акционерами голландской компании, торговавшей в России при Иване Грозном, были царский шурин, очередной царский фаворит и министр иностранных дел. Компания— хоть бы любому теперешнему „культурному“ государству! Но англичане скоро нашлись, и немного лет спустя акционерами их компании были Борис Годунов—фактический царь,—и Федор Иванович—царь номинальный; после этого конкуренции голландцев они могли, пока что, не опасаться.

Когда мы, среди всего этого, узнаем от авторитетнейшего тогдашнего церковного проповедника, что его современники пренебрегали земледелием и думали только о торговле, когда мы слышим, что другое, еще более знаменитое духовное лицо, протопоп Сильвестр, царский духовник, своего рода Распутин— только менее декадентского пошиба, чем наш современник,— правильно организовал коммерческое образование, и многие его воспитанники „торговали в различных странах всякими товарами“, нас это уже совершенно не удивляет. Нам остается только привести пару примеров, показывающих, как близка была к коммерческому миру сама государственная власть — и как тонко разбирались носители этой власти в делах этого мира.

В 1572 г. Грозный принимал в Александровской слободе посла Елизаветы Дженкинсона. Жалуясь на предшественника последнего Рандольфа, царь говорил: „Все его речи были о купеческих делах, а о наших делах он ничего не говорил.

[1] *Ключевский.* „Сказания иностранцев о московском государстве“, изд. 1918 г., стр. 276. Русский рубль этого времени равняется 25 теперешним золотым рублям. Интересующимся русской экономикой московской эпохи чрезвычайно полезно прочесть соответствующую главу („Торговля“) сводки Ключевского. Как раз отзывы иностранцев, с этой экономикой соприкасавшихся в первую очередь, особенно способны ликвидировать предрассудок о „примитивной экономической основе“, на которой якобы возникло московское самодержавие. На самом деле „основа“ была ничуть не более „примитивна“, нежели та, на которой во Франции выросло самодержавие последних прямых Капетингов (XIII—XIV в.в.).

Мы знаем, что *нужно выслушивать речи о купеческих делах, так как они опора нашей государственной казны;* но сперва нужно установить дела государей, а потом уже купцов".

Грозному в этот момент крайне важен был *политический* союз Англии: а Елизавета упорно держалась на линии „торговых сношений". Ему нужно было *де юре*, а она ему предлагала *де факто*. Но огромное значение этого „де факто" Грозный великолепно понимал, как видно уже и из только что цитированных его слов, и еще больше из того, что он же говорил четыре года спустя следующему английскому агенту, Даниилу Сильвестру. „Мы хорошо помним, сколь полезны для Англии товары наших стран; в особенности же дозволение нами, чтобы англичане строили дома для делания канатов (что воспрещено всем другим народам), не только прибыльно для купцов, но и весьма выгодно для всего английского государства. Если мы не встретим в будущем в нашей сестре более готовности, чем ныне, то все это, а также и все остальные льготы будут у них отняты, и мы эту торговлю передадим венецианцам и германцам, от которых они (англичане) получают большую часть тех товаров, которые нам доставляют" [1].

Если царские приближенные были акционерами, то сам царь годился в директора акционерной компании. И когда этот хитрый московский кулак, достойный потомок Ивана Калиты, схватился за первый попавшийся предлог, чтобы напасть на развалившийся ливонский орден—и захватить себе порт, а то и порты, на Балтийском море, то это нас уже может удивить всего менее. Царь торговой страны—а такой было московское государство XVI века—не мог поступать иначе.

А для того, чтобы биться за торговые пути, нужно было и стрелецкое войско, и позже солдатские и рейтарские полки, в этом тов. Троцкий вполне прав. Неправ он только в том, что, каким-то непостижимым образом, выводит все это из медленного экономического развития и отсталости московского государства. Дело не в отсталости — а в том, что это была *новая* страна, захваченная развитием торгового капитализма, и что ей приходилось отбивать себе место на солнышке у более старых, прочно укоренившихся конкурентов. Для этого русскому торговому капиталу пришлось сковать страну железной дисциплиной и выработать настоящую диктатуру. Воплощением этой диктатуры торгового капитала и было московское самодержавие.

„Красная Новь" 1922 г., кн. 7.

---

[1] Цитир. уже сборник *Ю. Толстого:* „Россия и Англия", стр. 135 и 187. Курсив наш.

Своеобразие русского исторического процесса и первая буква марксизма.

(Нечто в роде ответа т. Троцкому).

В ответ на небольшую журнальную статью о „1905“ годе („Красная новь“ 1922 г., книга третья, май—июнь), тов. Троцкий поместил в „Правде“ два огромных фельетона, в общей сложности раза в полтора больше статьи („Об особенностях исторического развития России“, №№ от 1 и 2 июля).

Уже одни размеры ответа свидетельствуют, что тут не вполне благополучно. „Когда хотят отставку дать, не станут длинно так писать“. Для такого мастера стиля, как тов. Троцкий, достаточно было бы двухсот строк, чтобы отхлестать незадачливого оппонента. Если понадобилось написать две тысячи строк, то, значит, дело плохо—плохо для той теории, которую неосторожно взялся защищать тов. Троцкий в 1907 году, и от которой, спешим прибавить, он явно уже далеко отошел в настоящую минуту.

В настоящую минуту—я постараюсь ниже доказать это текстуально,—т. Троцкий стоит почти целиком на нашей, т.-е. обще-марксистской позиции в данном вопросе. Если не совсем целиком, то, кажется, только потому, что в короткий промежуток между чтением моей статьи и писанием своих фельетонов он не успел ознакомиться с фактической стороной дела. Когда у него найдется для этого досуг, наши точки зрения, я уверен, сойдутся еще ближе, и мы приобретем еще одного, притом исключительно блестящего, защитника материалистического об'яснения русского исторического процесса [1].

Я не имею физической возможности отвечать тов. Троцкому так же обстоятельно, как он ответил мне. Дожидаться этой возможности мне пришлось бы не меньше трех недель, обвинения же,

[1] Предсказание, к сожалению, до сих пор еще не оправдалось. *Примечание к изданию 1925 г.* М. П.

возведенные на меня уважаемым автором „1905“, слишком тяжки. Я должен, поэтому, постараться отвести сейчас же, хотя бы вкратце, и хотя бы только главнейшие из них. Тов. Троцкий собирается продолжать эту полемику—надеюсь, что это будет на страницах той „Красной Нови“, где она началась, и с которых, может быть, ей и не следовало бы сходить. Тогда и у меня найдется время ответить обстоятельно и „по пунктам“. Теперь, повторяю,—только о главнейшем.

О самом главном обвинении читатель, конечно, уже догадался, ибо оно само собою подразумевается каноном партийной полемики. И т. Троцкий „классицизму отдал честь“: я—не марксист. Правда, не-марксистская компания выбирается для меня не какая-нибудь: в первом фельетоне я оказываюсь между Бюхером и Струве, во втором мне дается в спутники Эд. Мейер. Правда и то, что в другом месте я обзываюсь „вульгаризатором“ марксизма, а в третьих об'является, что в моих „общих местах“ еще нет марксизма—это только „первая его буква“. Струве—это, как будто, не первая, а последняя буква марксистской азбуки, нечто в роде ижицы, для алфавита совершенно бесполезной. К слову сказать, со струвианством в русской историографии никто не боролся более, нежели автор этих строк: все соответствующие главы „Русской истории с древнейших временах“ и „Очерка истории русской культуры“ представляют собою обстоятельное опровержение струвианской постановки вопроса о падении крепостного права в России—постановки, к которой, увы! довольно таки близко то, что говорится на стр. 25-й „1905“.

Но я вовсе не собираюсь прятаться ни за свои прошлые заслуги, ни за противоречия статьи тов. Троцкого. Я предлагаю последнему развернуть 1 том „Капитала“ на главе XXIV („Так называемое первоначальное накопление“) и благоволить прочесть следующие места („общие“ они или не общие, это уже дело вкуса) [1]:

„Средние века завещали две различные формы капитала, которые достигают зрелости в совершенно различных общественно-экономических формациях, и до наступления эры капиталистического способа производства считаются капиталом вообще: ростовщический капитал и купеческий капитал“. (Стр. 774).

„Открытие золотых и серебряных приисков в Америке, искоренение, порабощение и погребение заживо туземного населения в рудниках, первые шаги к завоеванию и разграблению

[1] Цитирую, за неимением оригинала под руками, по переводу Степанова, кажется, все же достаточно авторитетному.

Ост-Индии, превращение Африки в заповедное поле охоты на чернокожих,—такова была утренняя заря капиталистической эры производства. Эти идиллические процессы составляют главные моменты первоначального накопления. За ними следует торговая война европейских наций, ареной для которой служит земной шар. Война эта начинается отпадением Нидерландов от Испании, принимает гигантские размеры в английской антиякобинской войне и теперь еще продолжается в таких грабительских походах, как война с Китаем из-за опиума и т. д.

Различные моменты первоначального накопления распределяются теперь между различными странами,—а именно, между Испанией, Португалией, Голландией, Францией и Англией,—и притом более или менее в известной исторической последовательности. В Англии к концу XVII века они систематически об'единяются в колониальной системе, системе государственных займов, современной налоговой системе и системе протекционизма. Эти методы в значительной мере покоятся на грубейшем насилии, как, напр., колониальная система. Но *все они пользуются государственной властью, т.-е. концентрированным и организованным общественным насилием*, чтобы облегчить процесс превращения феодального способа производства в капиталистический и сократить его переходные стадии. Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым. Само насилие есть экономическая потенция". (Стр. 775).

„В настоящее время промышленная гегемониия (преобладание) влечет за собой торговую гегемонию. Напротив, в собственно мануфактурный период торговая гегемония обеспечивает промышленное преобладание. Отсюда та выдающаяся роль, которую в то время играла колониальная система. Это был тот „неведомый бог", который воссел на алтаре наряду со старыми богами Европы и в один прекрасный день одним толчком выкинул их из святилища. Колониальная система провозгласила обогащение последней и единственной целью человечества. Здесь зародилась система государственных займов и кредита". (Стр. 778) [1].

Так вот те явления, которых Маркс касается на этих страницах „Капитала", они имели место только в „Испании, Португалии, Голландии, Франции и Англии", или же они имели место также и в России? „Колониальная система" была приложима только в странах с жарким климатом и цветнокожим

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс: „Собрание сочинений", т. IV. Курсив во второй цитате—мой. М. П.

населением, или ее можно мыслить и в обстановке сибирской тайги, либо северно-русского болота? Необходимо ли для этого, чтобы по степям бегали страусы, по лесам бродили носороги, или же достаточно лисицы, соболя и горностая?

Исчерпывающий ответ на это дает сам т. Троцкий в своем великолепном (как я ему за него благодарен!) примере из его сибирских воспоминаний о Якове Андреевиче Черных. Этот сибирский купец, который „скупал у тунгузов пушнину, у попов дальних волостей—ругу и привозил с Ирбитской и Нижегородской ситец, а главное—поставлял водку", дает нам такую блестящую иллюстрацию русского „первоначального накопления", русской „колониальной системы" ранней стадии, какую только можно пожелать.

Сибирь, отставая от центральной России на столетия, превосходно консервировала, как будто нарочно для историка, московскую—а то и домосковскую Русь. Когда-то еще Н. А. Рожков при помощи сибирского „чертежа" истолковал таинственный „межный дуб" Русской Правды. Черных, как нарочно, является теперь, чтобы убедить наиболее скептически настроенных, что купеческий капитал московской Руси XVI—XVII веков отнюдь не фантазия. „Яков Андреевич грамоте не знал, но был миллионщик (по тогдашнему весу „нулей", а не по нынешнему)". Чем он хуже Строгоновых, его далеких социальных предшественников? И тысячу раз прав т. Троцкий, когда он говорит, что „этот живой кусок сибирской действительности гораздо глубже вводит нас в понимание исторических особенностей развития России, чем то, что говорит по этому вопросу т. Покровский". Само собою разумеется, один исторический факт гораздо убедительнее десяти рассуждений историков. Это они, исторические факты, и помогают нам вырваться из плена Милюковых и К°, как они-же помогли в свое время Марксу вырваться из плена буржуазной политической экономии.

Но историки все же не бесполезны, поскольку они могут связать одни факты с другими и тем их осмыслить. Вот, т. Троцкому его Черных не напомнил Строгоновых, а мне напомнил. Т. Троцкий видел около своего „короля крестей" „исправников и приставов"—и не вспомнил слов Маркса о том, как методы первоначального накопления „пользуются государственной властью, т.-е. концентрированным и организованным общественным насилием, чтобы облегчить процесс превращения феодального способа производства в капиталистический", и не заметил, что для существования десятков и сотен Черных с их способами добывания необходимо „административное, военное и финансовое могущество абсолютизма", каковое „могущество"

и находит здесь полное и исчерпывающее об'яснение своего классового смысла. Дальше и ходить некуда. Т. Троцкий увидал одно: Черных неграмотный, „тунгузишки" грязные—значит, все это признаки „отсталости". Отсталости сравнительно с чем? С современным Черных европейским бытом—или с предшествовавшим появлению Черных бытом „тунгузишек"? Для Сибири-то концентрация капитала в миллионных размерах была шагом вперед или назад?

И напрасно т. Троцкий думает, что он со мною спорит, когда он победоносно заканчивает свой первый фельетон: „А поднялся Черных до своего торгового значения на основе сибирского (средне-ленского) варварства потому, что давил Запад—„Рассея", „Москва"—и тянул Сибирь на буксире". Он плохо читал мою статью—там достаточно убедительных примеров того, как Запад XVI века, в образе голландского и английского капитала, „тащил на буксире" тогдашнюю Россию. Только, ведь, нужно было, чтобы было, что тащить—буксир-то тянет баржу, а не пустое место. Соприкосновение с Западной Европой сильнейшим образом стимулировало, поощряло развитие нашего торгового капитализма: но, если бы туземное накопление не предшествовало этому соприкосновению, Россия была бы чисто колониальной страной, на подобие даже не Индии (там свое накопление тоже было), а центральной Африки. Что развитие России, по типу, есть развитие колониальной страны, это как раз одна из моих ересей, и сейчас я приведу этому документальное доказательство,—но против чрезмерного перегибания палки в эту сторону я должен протестовать. Форменной колонией Россия все таки не была. А, между тем, если бы поверить тому, что тов. Троцкий рассказывает о „чрезвычайной примитивности и отсталости русского хозяйства", то стало бы совершенно исторической загадкой, почему же Россия в форменную колонию не превратилась? Почему этих экономически голых людей европейцы не просто взяли голыми руками, а должны были подчинять себе при помощи сложного аппарата государственного кредита (аппарата, являющегося частью „колониальной системы", см. Маркса), идя тем на риск той неприятности, которая их постигла в октябре 1917 года и с последствиями которой они не развязались до сих пор? Тут Черных, создавая туземный аппарат „организованного общественного насилия", сыграл „национальную" роль—и не даром, в образе Минина он до сих пор стоит перед Кремлем, самодовольно указуя перстом на свое создание.

Но вопрос о „больше" и „меньше"—это все таки уже вопрос оттенка. Признав, что давление Запада на Россию было, в

первую голову, давлением экономическим, тов. Троцкий сделал уже большой шаг в направлении к материалистическому об'яснению русской истории, далеко уйдя вперед и от Плеханова (у которого в „Истории русской общественной мысли" этим экономическим давлением для древнейшего периода и не пахнет) и даже от того, что он сам писал в „1905". Там на стр. 20 определенно сказано: „В докапиталистическую эпоху влияние европейского хозяйства на русское было по необходимости ограниченным. Натуральный, следовательно, самодовлеющий характер русского народного хозяйства (!) ограждал его от влияния более высоких форм производства". А „докапиталистическая эпоха" там, для т. Троцкого, шла до Николая I,—стало быть, ни при Грозном, ни даже при Петре ни о каком экономическом влиянии Запада на Россию не могло быть речи. Дабы избежать лишнего спора, сейчас же оговорюсь: я этих слов т. Троцкого не процитировал в первой своей статье именно потому, что считаю их обмолвкой. Но автор столь жестоких для меня фельетонов теперь так даже и не обмолвится—вся его концепция совершенно иная.

В наиболее сгущенном виде мы находим эту концепцию во втором фельетоне.

„Русский капитализм не развивался от ремесла через мануфактуру к фабрике, потому что европейский капитал, сперва в форме торгового, а затем в форме финансового и промышленного навалился на нас в тот период, когда русское ремесло еще не отделилось в массе своей от земледелия. Отсюда—появление у нас новейшей капиталистической промышленности в окружении хозяйственной первобытности: бельгийский или американский завод, а вокруг—поселки, соломенные и деревянные деревни, ежегодно выгорающие и проч. Самые примитивные начала—и последние европейские концы. Отсюда—огромная роль западно-европейского капитала в русском хозяйстве. Отсюда политическая слабость русской буржуазии. Отсюда—легкость, с какой мы справились с русской буржуазией".

Вот строки, под которыми я подписываюсь обеими руками. И подписываюсь по той простой причине, что сам я года полтора тому назад написал почти такие же строки, но, правда, сделав из них вывод, с которым не знаю, согласится ли тов. Троцкий.

„В самом деле, Россия представляет собой исключительно ценный в методологическом отношении пример быстрого роста капиталистического общества на чрезвычайно примитивной социально-экономической основе. Предрассудок о медленности

исторического развития России основан на одностороннем наблюдении над докапиталистическим периодом этого развития. Это совершенно верно, что под влиянием географических, главным образом, условий рост прибавочного продукта и в связи с этим рост первоначального накопления шел в России с большой медленностью. Но, однажды образовавшись, русский капитализм, опираясь на все достигнутые к этому времени западным капитализмом технические и организационные успехи, шел в семимильных сапогах, с изумительной быстротой творя новые формы экономической жизни и создавая новые идеологии, пока, к началу XX века, Россия не „догнала" Европы в этом отношении окончательно".

„В политической области четкость основных линий процесса стушевывается отчасти сосуществованием, в пределах одной территории и вперемежку, двух стадий капиталистического развития—торговой и промышленной... В чисто культурной области та же четкость основных линий нарушается другим сосуществованием—той первобытной основы русского капитализма, о которой говорилось вначале, и развитых форм этого последнего. Курная изба крестьянина стоит рядом непосредственно с великолепным образчиком европейской архитектуры в лице помещичьей усадьбы. Грубейшие приемы ремесленной работы, могущие найти себе аналогию только в центральной Африке или Новой Гвинее—рядом с фабрикой, все станки которой приводятся в движение электричеством. Это существование „примитивов" и „последних слов науки и техники" сильно способствовали укреплению предрассудка об „отсталости" и „медленности развития" России, сравнительно с западными странами. Дело преподавателя,—пользуясь примерами из жизни колониальных стран, показать учащимся, что это, наоборот, один из признаков катастрофически быстрого развития капиталистической России, не знавшей тех постепенных переходов, которые характерны для старых культурных стран Запада, Англии или Франции, напр." [1].

Последняя фраза может изумить читателя своим обращением,—спешу разъяснить, что цитаты взяты из объяснительной записки к „Примерным программам по истории для школ II-й ступени". В неожиданных местах приходится высказывать иногда свои теоретические взгляды... Содержанием же своим эта фраза подводит нас к центральному вопросу всей дискуссии: как была возможна в России пролетарская революция.

[1] „Примерные программы по истории для школ II ступени". 1920 г. Стр. 39—41.

Но вопрос этот настолько большой и важный, что дебатировать его на кончике газетного фельетона никак не приходится. Тут мы имеем, действительно, „общее место“ марксизма в применении к русской истории, но наша историческая литература так отравлена анти-марксистской кадетчиной, что долбить этим общим местом придется еще долго, как в свое время Чернышевскому приходилось долбить свое бе-а-ба. Это, конечно, „первые буквы“ марксизма, что же, однако, вы поделаете, если широкая публика даже и их пока не усвоила?

„Правда“, 5-го июля 1922 года.

Кончаю...

В наказание за то, что я не дал исчерпывающего ответа на его фельетоны, тов. Троцкий решил мне не отвечать вовсе.

В самом деле, в его последней заметке („Пароход не пароход, а баржа", „Правда" от 7 июля) по существу моего фельетона (в № от 5-го) нет ни звука, если не считать пары презрительных строк в конце о „цитатах из Маркса, неизвестно зачем приведенных" (! всякому человеку ясно, что в этих цитатах суть моего ответа тов. Троцкому. Или он хочет этим сказать, что он эти цитаты и без моего напоминания великолепно знает? В этом я нимало не сомневался, но не имел права предполагать, что все читатели „Правды" знают Маркса наизусть).

Чтобы показать, что я человек учтивый и приличия понимаю, я готов последовать примеру тов. Троцкого—и по существу его нового фельетона тоже ничего не говорить. Тем более, что и говорить нечего. Когда тов. Троцкий с чрезвычайной обстоятельностью доказывает, что Россия шла не в голове, а в хвосте экономического развития Европы, то я не знаю, с кем он спорит, только не со мной. Когда он уверяет, что его „внеклассовая" схема привела его не только к пониманию, но и к предвидению Октябрьской революции, то это тоже его личное дело. Само по себе ничего нет невероятного, что, исходя из ошибочных предпосылок, люди нечаянно получают об'ективно ценные результаты: основываясь на ошибочных расчетах Тосканелли, Колумб отправился открывать дорогу в Индию—и открыл Америку. Но, кажется, Колумб не сердился потом на людей, которые доказывали, что Тосканелли был плохой математик. По крайней мере мне нигде не доводилось читать об этом.

Как бы то ни было, кончает тов. Троцкий категорическим утверждением, что существования „баржи" (то-есть купеческого капитала Московской России?) он „не только не отрицал, но всемерно выдвигал. Я отрицал только тождество баржи и парохода" (курсив тов. Троцкого).

Т.-е. тов. Троцкий отрицал, что московское „первоначальное накопление“ шло впереди западно-европейского! Но это опять совершенно напрасная растрата энергии. Ни одному человеку никогда не приходило в голову сомневаться, что в Москве не было ни Медичи, ни Фуггеров, и что все петровские „прибыльщики“ в подметки не годились одному Кольберу. Важно то, что в Москве аналогичные явления, хотя в более примитивной форме, тоже были,—и что именно ими, а не „натуральным, следовательно, самодовлеющим характером русского народного хозяйства“ нужно об'яснять такие факты, как „возникновение русского государства“ (точнее — „московского самодержавия“, ибо Рюрик с братьями нас с тов. Троцким, конечно, не интересуют).

Но и в вопросе о „примитивности“ тов. Троцкий готов, как будто, несколько уточнить свою схему, и подчеркивает теперь, в своей старой характеристике московского государства, уже „недостаточную примитивность“ сего последнего.

Если все это означает, что мы на пути „к познанию исторической истины“—в добрый час. Я вполне готов „на этом кончить“, что касается нашей газетной полемики, по крайней мере. Но не зарекаюсь когда-нибудь, не в виде газетного фельетона, а в более „тяжелой“ форме, об'яснить интересующимся, как возникла та „внеклассовая“ схема, которая сыграла в исторической экскурсии тов. Троцкого роль расчетов Тосканелли. Это, собственно, прямая обязанность русского историка-марксиста. В очень элементарной форме я эту обязанность уже выполнил, и даже дважды (в одном из очерков, помещавшихся в старой „Борьбе“ тов. Троцкого, 1914 года и в дополнительной главе II части „Сжатого очерка“). Но сюжет такой, что им не грешно заняться пристальнее.

„Правда“, 13 июля 1922 г., № 154.

Троцкизм и „особенности исторического развития России".

Года три тому назад студенчество наших коммунистических университетов было в большом волнении. Оно привыкло читать в марксистских руководствах по русской истории, что социально-политическое развитие России шло таким же путем, как и развитие стран Западной Европы; что русское самодержавие было таким же исполнительным комитетом крупных земельных собственников и крупного купеческого капитала, как и западно-европейский абсолютизм XVI—XVIII веков; что судьбы этого самодержавия определялись, в конечном счете, развитием русского капитализма—и, стало быть, зависели от „общественного развития России".

И вот вышла книжка тов. Троцкого „1905", где студенты увидали написанным черным по белому, что в России абсолютизм существовал „наперекор общественному развитию", что он превратился у нас в „самодовлеющую организацию, стоящую над обществом"; что он возник вовсе не на основе раннего капитализма эпохи „первоначального накопления", а на „примитивной экономической основе" (которая дальше поясняется, как „натуральное" хозяйство „самодовлеющего" характера), и для создания его русское государство „должно было обгонять развитие своих собственных экономических отношений". Словом, все было совсем наоборот тому, что рассказывали русские историки-марксисты. А на естественно возникавший у коммунистических студентов вопрос, на чем же выросло самодержавие, если оно не зависело от общественного развития и обгоняло экономические отношения, на первой же странице можно было прочесть ответ: „При слабом, сравнительно, развитии международной торговли решающую роль играли *междугосударственные военные отношения*. Социальное влияние Европы в первую очередь сказывалось через посредство *военной техники*". Не капитализм толкал

вперед развитие русского государства, а наоборот: русский абсолютизм „ревностно насаждал капитализм" для своих военно-политических целей. „Чтобы удержаться против лучше вооруженных врагов, русское государство было вынуждено заводить у себя (!) промышленность и технику".

Словом, первая и основная особенность исторического развития России состояла в том, что всюду в мире экономика командовала над политикой, а у нас наоборот.

Согласитесь, что коммунистическим студентам было чему удивиться.

Естественно, что они, не без гнева (авторитет Троцкого в 1922 г. был еще очень велик), обратились к своим профессорам истории. „Что же вы нам рассказываете? Почитайте, что пишет Троцкий: дело совсем не так было!".

Приходилось об'яснять и об'ясняться. Первое, что могло прийти в голову, это, что т. Троцкий, стоя во главе военного дела Советской России в течение ряда лет, невольно переоценил свою „специальность", и военная техника у него оказалась (по крайней мере, для России) главной пружиной истории. Но если у кого и были такие мысли, они были рассеяны очень скоро ответом т. Троцкого на первую же критическую статью по поводу „1905". Оказалось, что „вступительная глава об особенностях исторического развития России появилась впервые на русском языке в моей (т. Троцкого) книге „Наша революция", вышедшей в 1907 г. в Петербурге (см. 244 стр.). Подготовительные работы для этой главы делались мною в течение 1905 и затем в течение 1906 г. (в тюрьме). Вызвана она была непосредственно стремлением исторически обосновать и теоретически оправдать лозунг завоевания власти пролетариатом, противопоставленный как лозунгу буржуазно-демократической республики, так и лозунгу демократического правительства пролетариата и крестьянства".

Отсюда читатель, таким образом, узнавал, что теория русского исторического процесса у т. Троцкого отнюдь не случайна, но была им выработана, как одно из орудий в его борьбе с ленинизмом („лозунг демократического правительства пролетариата и крестьянства"). Теории этой придавалось столь важное значение, что без нее „нельзя и сейчас понять Октябрьскую революцию, тем более нельзя было *предвидеть ее в ее внутренней социальной механике почти два десятилетия тому назад*" [1].

[1] Статья „Пароход—не пароход, а баржа" в „Правде" 1922 года от 7 июля, курсив Троцкого; ссылок из „1905" мы не оговариваем, так как эта книга у всех в руках.

Итак, историческая теория Троцкого есть—это его собственное заявление — одна из основных частей троцкизма. Товарищи догадываются теперь, что заставляет вспоминать академический, как будто, спор, ведшийся на страницах „Красной Нови“ и „Правды“ почти три года тому назад.

В ответ своему критику тов. Троцкий подробнее развил и обосновал свою теорию—удобнее, поэтому, излагать ее теперь по этой его статье, под заглавием „Об особенностях исторического развития России“, перепечатывающейся, в виде особого приложения, при всех изданиях „1905“, начиная со 2-го.

Если очистить этот ответ от запальчивых выпадов по адресу противника и различных полемических отступлений, суть дела сведется, приблизительно, к следующему:

В основе общественного развития западной Европы, в эпоху перехода от феодализма к капитализму, стоял *город*.

„Цеховое ремесло составляло фундамент средневековой городской культуры, которая излучалась и на деревню. Средневековая наука, схоластика, религиозная реформация выросли из ремесленно-цеховой почвы. У нас этого не было. Конечно, зачатки, симптомы, признаки можно найти и у нас, но, ведь, на Западе это было не признаками, а могущественной хозяйственно-культурной формацией с ремесленно-цеховым фундаментом. На этом стоял средневековой европейский город, на этом он рос и вступал в борьбу с церковью и феодалами и протянул против феодалов руку монархии. Этот же город создал технические предпосылки для постоянных армий в виде огнестрельного оружия“.

Было ли у нас что-нибудь подобное? „Западно-европейский город был ремесленно-цеховым и торгово-гильдейским. Наши же города были в первую голову административно-военными, следовательно, потребляющими, а не производящими центрами. Ремесленно-цеховой быт Запада сложился на относительно высоком уровне хозяйственного развития, когда все основные процессы обрабатывающей промышленности отделились от земледелия, превратились в самостоятельные ремесла, создали свои организации, свое средоточие—город, свой, на первых порах ограниченный (областной, районный), но устойчивый рынок. В основе средневекового европейского города лежала, таким образом, относительно высокая диференциация хозяйства, породившая правильные взаимоотношения между центром-городом и его сельско-хозяйственной периферией. Наша же хозяйственная отсталость находила свое выражение, прежде всего, в том, что ремесло, не отделяясь от земледелия,

сохраняло форму кустарничества. Тут мы ближе к Индии, чем к Европе, как и средневековые наши города ближе к азиатским, чем к европейским, как и самодержавие наше, стоя между европейским абсолютизмом и азиатской деспотией, многими чертами приближалось к последней".

Не будем останавливаться на параллели Европы и Индии. Я Индии специально не изучал, а изучавшие ее люди рисуют ее несколько иначе, чем представляется она тов. Троцкому. „Индия—страна ремесленного производства", пишет один из них. „Ремесленные изделия Индии некогда пользовались широкой славой и в больших количествах вывозились в Европу, особенно ценились индийские ткани и ювелирные и металлические изделия. Еще в конце XVIII в. Индия по сравнению с Европой являлась промышленной страной, вывозила изделия, а ввозила сырье (главным образом, металлы). Но развитие дешевого машинного производства в Англии в короткое время совершенно и бесповоротно убило артистическое ремесло Индии" [1].

Иностранцы, посещавшие Московскую Россию в XVII в., тоже выносили иное представление о русском городе и его населении, нежели то, какое нашел у буржуазных историков тов. Троцкий. Эти иностранцы насчитывали в Москве до 40.000 лавок—правда, очень мелких, чисто ремесленного типа, но это-то и доказывает большую развитость московского ремесла. По описанию Таннера, бывшего в Москве в 1689 году, Москва рисуется городом, сплошь заселенным ремесленниками. Их было очень много в Белгороде—центральной части города, обнесенной белой каменной стеной (отсюда и название), где каждый вывешивал на окне вещь, указывавшую на его ремесло: сапожник вывешивал сапог, портной лоскутки разных материй и т. п. Белгород был в пятеро больше Кремля и Китай-города. Но это была, так сказать, ремесленная аристократия: мелкие ремесленники жили в „Скородоме"—предместье Москвы, окруженном деревянной оградой. Тут же были базары, на которых можно было купить, что угодно,—до готового платья и готовых домов включительно. Но особенно славились московские ювелирные изделия и кожаные вещи; по этому поводу мы находим у различных путешественников XVII в. самые разнообразные комплименты, и, например, знаменитый Олеарий, бывший в Москве в 1634—36 гг., снисходительно соглашается,

[1] Статья „Индия", *Кржижицкого,* в словаре Граната, т. XXII, стр. 13 приложения „Соц.-экономич. обзор Индии". Том вышел во время войны, так что это одно из наиболее свежих справочных пособий.

что московские ювелиры работают не хуже немецких,—что он об'ясняет „обезьяньими" способностями москвитян. Об'яснение, которое не устраняет факта. Кстати сказать, ювелиры („серебрянники") были организованы в Москве цеховым образом и работали под надзором своих „старост". Другим московским цехом были иконописцы; у них существовала даже „образцовая работа" (chef d'oeuvre).

И московский город, как исключительно потребительский центр, тоже выдуман русскими буржуазными историками—это им было нужно для подкрепления их концепции, как увидим дальше. На самом деле, Новгород и Псков уже в XIV—XV веке, Москва, Вологда, Нижний-Новгород в XVI и XVII были крупными торговыми центрами. Кишевшая в этих центрах буржуазия имела и политическое значение и сыграла роль как раз в деле борьбы с феодалами. Начиная свой террор против боярства, Иван Грозный обратился с воззванием к московским „гостям" (крупные оптовые торговцы), купцам (лавочники) и „всему православному христианству города Москвы", т.-е. к тем самым московским ремесленникам, о которых сейчас говорилось. В начале следующего XVII столетия эти купцы и ремесленники—„сапожники и пирожники", как презрительно отзывается один иностранец — возвели на престол Василия Шуйского. Мелкими торговцами и ремесленниками были и те *стрельцы,* с восстанием которых боролся Петр I.

Словом, в этом резком противопоставлении русского и западно-европейского города у т. Троцкого чрезвычайное преувеличение и „упрощенство". Конечно, Москва XVI—XVII в. не была похожа на Флоренцию или Антверпен (хотя и была „немного больше Лондона", по словам английского путешественника XVI века Флетчера), — но *тип* старо-русского города был тот же, что и средневекового города Западной Европы. Этот тип у нас не достиг такого пышного расцвета, как на Западе. Почему? Потому что торговый капитал, сложившийся в России позднее, чем на Западе, но развившийся быстрее, задушил наше городское ремесло еще в пеленках, превратив его в систему домашнего производства, начиная уже с XVII века [1].

Но откуда мог у нас взяться торговый капитализм, когда у нас не было города? Перед этим вопросом не мог не остано-

[1] Это можно видеть на примере знаменитой „русской кожи", репутация которой считает уже более 200 лет существования. В 1650-х годах ее вывозилось за границу на 5 миллионов теперешних золотых рублей — причем кожа для обработки привозилась из Польши и с Украины. Это было уже чисто капиталистическое предпринимательство.

виться и тов. Троцкий. И об'яснение, которое он дает, столь замечательно, что на нем стоит остановиться на минуту. Тов. Троцкий не только развитие русского абсолютизма, но и появление русского капитализма выводит из тех же „примитивности" и „отсталости". Большой, по крайней мере, в пространственном отношении, размах русской торговли в XVI столетии... „об'ясняется именно чрезвычайной примитивностью и отсталостью русского хозяйства... При безграничности наших пространств и редкости населения (кажись, тоже достаточно об'ективный признак отсталости?), обмен продуктами предполагал посредническую роль торгового капитала самого широкого размаха".

По этой теории центрами мирового торгового капитализма должны были бы стать Исландия, где на 40.000 англ. квадр. миль пространства имеется менее 100 тысяч душ населения (2,4 человека на квадратную милю),—а еще лучше Гренландия, где на 47 тыс. квадр. миль населения всего 14.000 душ. Вполне естественно, что теория роста капитализма „на пустом месте" не удовлетворяет самого тов. Троцкого, и он спешит перейти к влиянию западного капитала, который „толкал вперед торговый оборот у нас". А так как случаев такого „толкания" для древнейшего периода тов. Троцкий привести не может (случаи были,—но характерно, что они шли в *убывающей* прогрессии: в XVI в. заграничный капитал был у нас более влиятелен, чем в XVII в.) то, в конце концов, остается „вернуться в исходное положение", воззвав к всемогущему, выросшему тоже на пустом месте, абсолютизму. Это ему было суждено стать „историческим орудием в деле капитализирования экономических отношений России". И это уже он, а не возникший из ничего торговый капитал, должен был „бороться с дикостью, бедностью и разобщенностью страны, отдельные части которой жили вполне самостоятельной экономической жизнью". Словом, „даже на примере бессистемной и варварской деятельности русского самодержавия" можно убедиться, „какую огромную роль может играть государственная власть в чисто хозяйственной области, когда она в общем работает в направлении исторического развития". „...Самодержавие, с помощью европейской техники и европейского капитала, превратилось в крупнейшего капиталистического предпринимателя, в банкира и монопольного владельца железных дорог и винных лавок".

Не будем останавливаться на „упрощениях" и в этой характеристике. Предпринимательство государства в дореволюционную эпоху сводилось к нескольким казенным заводам, которые не давали барыша, т.-е. не были капиталистическими пред-

приятиями. Никакой железнодорожной государственной монополии до революции не было—почти треть железных дорог (20 тыс. верст из 64 тысяч всей сети) была в частных руках; от винной монополии царизм отказался сам за три года до своего падения — отказался в угоду туземной буржуазии, которую нужно было вознаградить за временное закрытие границ и удорожание средств производства расширением внутреннего рынка, что, конечно, о могуществе абсолютизма по отношению к частному капиталу не свидетельствует.

Не будем останавливаться на всем этом—возьмем схему, как она есть. Не найдя в русской истории города, индустриального, ремесленного и цехового, который представляется т. Троцкому необходимой ступенькой к „естественному развитию капитализма",—он должен был обратиться к „сверхестественному" способу развития этого последнего, через абсолютизм.

Тут характерны 2 момента:

1) роль *города* во всей системе; все идет из этого центра; если города нет, или он слаб, получается пустота, которую во что бы то ни стало необходимо заполнить;

2) для заполнения найденной пустоты служит *государство*— при чем учение о всемогущем государстве, творце капитализма, принимается с чрезвычайной легкостью.

Оба момента характерны потому, что они вскрывают перед нами *социальную основу* всей системы. Не социальную основу русского исторического процесса, но социальную основу исторической теории троцкизма.

Действительно ли западно-европейский капитализм шел из города? Пусть читатель не беспокоится—я не собираюсь производить длинных исторических изысканий. Я хочу напомнить только, как смотрели на это Маркс и марксисты.

„Пролог переворота, создавшего основу для капиталистического способа производства, разыгрался в последнюю треть XV и первые десятилетия XVI столетия. Масса поставленных вне общества пролетариев была выброшена на рабочий рынок, благодаря уничтожению феодальных дружин, которые, по справедливому замечанию сэра Джемса Стюарта, „везде бесполезно переполняли дома и дворы". Правда, королевская власть, будучи сама продуктом буржуазного развития, в своем стремлении к абсолютизму насильственно ускоряла разложение этих дружин, однако, она отнюдь не была его единственной причиной. *Сами крупные феодалы*, стоявшие в самом резком антагонизме к королевской власти и парламенту, *создавали несомненно более многочисленный пролетариат*, узурпировав

(присвоив вопреки праву) общинные земли и согнав крестьян с занимаемых ими участков, на которые крестьяне имели такое же феодальное право собственности, как и сами феодалы“ [1].

Где тут город, ремесленники, цехи? Их нет. Есть король—„создание буржуазии“—и *феодалы*. Но здесь еще роль последних чисто отрицательная — они только расчищают почву под капитализм.

Послушаем еще одного автора, который в *этом* своем произведении был еще марксистом. Он говорит о *положительной* роли крупного землевладения в деле развития капитализма. „Величайшей дееспособностью“ „в начале капиталистического развития“ обладает по этому автору *крупное землевладение*. „Последнее непосредственно заинтересовано в промышленном развитии. Оно должно продавать свои продукты,—и капитализм создает для него большой внутренний рынок и открывает возможность развития таких сельскохозяйственных отраслей промышленности, как винокурение, пивоварение, фабрикация крахмала и сахара и т. д. Такая заинтересованность крупного землевладения имеет крупное значение для развития капитализма: обеспечивает последнему на ранней стадии его развития поддержку крупного землевладения, а вместе с тем и государственной власти. *Политика меркантилизма и выдвигалась всегда поместьем, продуктом капиталистического преобразования сеньериального хозяйства*“ [2].

Остается прибавить, что в истории меркантилизма, т.-е. политики торгового капитала — русское развитие необычайно точно следовало этой схеме. От крупных землевладельцев XVI века, бывших пайщиками английской компании, с Борисом Годуновым — правителем государства, фактическим царем при Федоре Ивановиче, через Строгановых, богатейших вотчинников, владевших соляными варницами и торговавших пушниной в XVII веке, и „птенцов Петра“, в роде Меньшикова, владельца десятков тысяч крепостных крестьян, нескольких фабрик и рыбных ловель на Белом море в начале XVIII века, до длинной вереницы князей-фабрикантов и заводчиков второй половины того же века идет этот союз крупного имения и крупного капитала, столь характерный для „первых ступеней капиталистического развития“. Если бы Гильфердинг изучал русскую историю, он не мог бы дать более четкой картины. Но, по всей вероятности, он не знал ни одного из приведен-

---

[1] „Капитал“, русск. пер. Степанова, т. I, 710—711. Курсив мой. М. П.

[2] *Гильфердинг*. „Финансовый капитал“, стр. 404 русск. текста. Курсив мой. М. П.

ных сейчас фактов. *Тип развития* был и тут один и тот же—помещик-предприниматель всего менее принадлежит к „особенностям исторического развития России".

Но одну из особенностей исторической теории Троцкого здесь нельзя не заметить: он систематически игнорирует все, что выходит за пределы города. Без города для т. Троцкого нет капитализма. Вот почему весьма поучительно обратиться еще раз к Марксу и посмотреть, как он понимал соотношение города и деревни в процессе „первоначального накопления".

„Хотя первые зачатки капиталистического производства имели место уже в XIV и XV столетиях в отдельных городах по Средиземному морю, тем не менее начало капиталистической эры относится лишь к XVI столетию. Она открывается там, где уже давно уничтожено крепостное право и *уже значительно увял наиболее яркий цветок средневековья—свободные города.*

В истории первоначального накопления громадное значение имели все перевороты, которые так или иначе послужили рычагом для возвышения формирующегося класса капиталистов; но особенно важную роль играли те моменты, когда значительные массы людей внезапно и насильственно отрывались от средств существования и выкидывались на рынок труда в виде поставленных вне закона пролетариев. *Экспроприация сельскохозяйственного производителя, обезземеление крестьянина составляет основу всего процесса.* Его-то мы и должны рассмотреть прежде всего. Его история в различных странах имеет различную окраску, пробегает различные фазы в различном порядке и в различные исторические эпохи" [1].

Итак, „основу всего процесса" нужно искать в деревне, а не в городе. Процесс начался именно тогда, когда столь увлекающий т. Троцкого средневековый город „уже значительно увял". Мы уже видели, что главную роль в процессе играл не город с его обитателями, а феодальный сеньор. Но в разных странах этот последний действует по-разному—Маркс это знал и оговорил. Действительно, выбранный им пример—обезземеление крестьян в Англии—характерен для западной Европы, но не для восточной. Здесь дорога шла не через обезземеление крестьян, а через их закабаление [2]. Тут мы имеем, действительно, „особенность исторического развития",—правда, не одной России, а всей восточной Европы,

[1] „Капитал", т. I, пер. Степанова, стр 708—709. Курсив мой. М. П.

[2] Об этом крепостном праве „второго издания", которое следует отличать от феодальной зависимости, см. письма Энгельса к Марксу от 15 и 16 XII—1882 г.

включая, например, и Пруссию. Эта особенность была, конечно, далеко не безразлична для *политического* развития соответствующих стран. Необыкновенная интенсивность и долговечность русского самодержавия, так же, как и то, что в Пруссии реальная, а не декоративная, как в Англии, монархия дожила до 1918 года, на год с лишним пережив даже русское самодержавие, об'ясняются именно интересами этого закабаления. Тут можно бы было говорить о некотором—на правах „разновидности"—своеобразии исторического процесса, но так как этой именно разновидности т. Троцкий и не заметил, то его теории это ни в малой мере не спасает.

Свою „городскую" теорию Троцкий взял не у Маркса. Вполне ли она, однако, оригинальна? Кто хорошо помнит „Очерк истории третьего сословия" Ог. Тьерри, классическую книгу французской исторической литературы, тот давно угадал источник. У Тьерри, действительно, все строится на борьбе города с феодалами. Тьерри считается одним из предшественников исторического материализма— одним из самых непоследовательных предшественников, нужно сказать [1]. Кто бы подумал, однако, что французский мелкобуржуазный историк первой половины XIX века поможет кому-нибудь понять и даже предвидеть пролетарскую революцию XX столетия? Чего на свете не бывает! А, может быть, он не помог, а *помешал* понять?

Переходим ко второй „особенности" теории Троцкого—его вере в экономическое могущество государства вообще, и российского абсолютизма, в частности. Теория эта очень не нова—ее первый набросок относится еще к середине XIX столетия. В противоположность „городской" теории, носящей отчетливо мелкобуржуазный характер, эта вышла из среды того предпринимательского дворянства, о котором мы говорили выше. К середине XIX столетия барщинное хозяйство сделалось решительно невыгодным. Помещик-предприниматель должен был перевести свое имение на чисто-капиталистические рельсы. Для этого ему нужен был капитал, и нужен был совсем или отчасти обезземеленный крестьянин, из которого можно было бы сделать батрака. Капитал можно было выжать из крестьян, которые потом, лишенные доброй доли своей земли, оказались бы и готовой рабочей силой, только уже не крепостной, а „свободной".

Эти две идеи — частичного обезземеления крестьян и, при этом, извлечения из них капитала для сельскохозяйственного

[1] См. об этом у Плеханова (Бельтова) „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю", гл. II.

предпринимательства—легли в основу столь знаменитой „крестьянской реформы“ 1861 года. Государство выступило в качестве посредника—оно авансировало необходимый капитал помещикам, взявшись выколотить его затем из крестьян в качестве выкупа за землю—землю, собственно, крестьянскую, лежавшую под крестьянскими наделами, притом оцененную далеко выше ее стоимости. Уже это должно было очень возвысить роль государства в глазах передовых помещиков, которые добивались реформы. Но это было не все. Вполне можно было предвидеть, что крестьяне не согласятся платить помещикам втридорога за свою собственную крестьянскую землю. Александр II, „Царь Освободитель“, вполне определенно и предвидел крестьянский бунт, как последствие „освобождения“ по помещичьей программе—и принимал соответствующие меры.

Твердая власть была необходима помещикам, как никогда. Самые либеральные из них, еще вчера будировавшие против самодержавия Николая I, всячески славословили его сына. Герцен писал Александру II и его жене дружеские письма. Но Герцен все же был революционер и не мог выражать интересов помещичьего класса—хотя и стоял от него не далеко. Он заботился и о крестьянине, наивно думая, что Александр II может последнему помочь, а главное, с его пера, по старой привычке, срывались иногда революционные фразы.

Это страшно возмущало „деловых“ помещиков, которые больше всего на свете боялись в эту минуту революции. Один из них, владелец имения в Тамбовской губернии и профессор государственного права в московском университете, Борис Чичерин и выступил против Герцена с резкой статьей, жестоко бичуя его революционную фразу—не за то, что это фраза, а за то, что она революционная.

Одна выдержка из этой статьи даст нам понятие о *политической* физиономии Б. Чичерина: с этого приходится начинать, ибо у историка, как у всякого человеческого существа, „бытие определяет сознание“. „Вспомните еще раз, в какую эпоху мы живем. У нас совершаются великие гражданские преобразования, распутываются отношения, созданные веками. Вопрос касается самых живых интересов общества, тревожит его в самых глубоких его недрах. Какая искусная рука нужна, чтобы примирить противоборствующие стремления, согласить враждебные интересы, развязать вековые узлы, чтобы путем закона перевести один гражданский порядок в другой. Здесь также есть борьба, но борьба другого рода, без сильных эффектов, без гневных порывов, борьба обдуманная, осто-

рожная, озаренная мыслью, неуклонно идущею по избранному пути. В такую пору нужно не раздувать пламя, не растравлять язвы, а успокаивать раздражение умов, чтобы вернее достигнуть цели. Или вы думаете, что гражданские преобразования совершаются силою страсти, кипением гнева?"

Была нужна „искусная рука" самодержавия, чтобы примирить „враждебные интересы" помещиков и крестьян. (Чичерин был настолько умный человек, что не мог не понимать противоположности интересов этих двух классов), а Герцен забавляется революционной фразеологией. Тогда как надо „успокаивать раздражение умов", т.-е. помогать помещику и его правительству надуть мужика.

И вот, вся русская история начинает представляться Чичерину с точки зрения „искусной руки". Это она, „искусная рука", строила все русское общество. Государство закрепостило это общество, когда это было нужно для обороны от врага— оно теперь раскрепощает его, потому что теперь оборона ведется другими средствами.

Вот как, при свете этой теории, представлялось, например, закабаление крестьян, о котором мы говорили выше. „Если мы на эти постановления взглянем отрешенно от существовавшего в то время порядка вещей, то нам покажется весьма странным и непонятным делом уничтожение одним указом свободы целого сословия, которое искони пользовалось правом перехода. Но если мы рассмотрим их в связи с другими явлениями жизни, в связи с предыдущей историей, мы убедимся, что в этом не было ничего исключительного и несправедливого. Это было укрепление не одного сословия в особенности, а всех сословий в совокупности; это было государственное тягло, наложенное на всякого, кто бы то ни был. Все равно должны были всю жизнь свою служить государству, каждый на своем месте: служилые люди и крестьяне отправлением разных служб, податей и повинностей, наконец, вотчинные крестьяне, кроме уплаты податей и отправления повинностей, также службою своему вотчиннику, который только с их помощью получал возможность исправлять свою службу государству".

„Опыты по истории русского права" (вышли в 1858 г.), где были изложены эти взгляды Б. Чичерина, стали настольной книгой ряда русских буржуазных историков, в том числе такого влиятельного, как Ключевский. Теория *закрепощения и раскрепощения* стала официальной исторической теорией русских университетов. Все студенты этих университетов приучались смотреть на русское прошлое сквозь призму этой

теории—приучались верить, что „искусная рука" самодержавного государства была главным фактором исторического развития России, что в ней все создано самодержавием. Эта точка зрения выдержана в наиболее популярной исторической книжке до-революционной России—в „Очерках истории русской культуры" П. Милюкова,—книжке, которая, боимся, оказала сильное влияние на тов. Троцкого.

Но, спросит читатель, почему же эта теория всемогущества государства, возникшая при определенных условиях в эпоху „освобождения" крестьян, оказалась такой живучей и оказала такое влияние на писателей, не имевших ничего общего, казалось бы, с помещичьим классом, как Ключевский? Милюков, когда писал свои „Очерки", в 1890-х годах, был типично мелкобуржуазным демократом (потом он уклонился несколько вправо от этой позиции). Ключевский умер членом кадетской партии. Кроме того, теория государства, независимого от общества и командующего последним, была гораздо шире академической науки. Мы ее встречаем в 1894 г. у Виктора Чернова, будущего лидера партии с.-р.: „Россия, писал он тогда, по слабому развитию в ней различных сословий и большой силе правительственной власти, есть единственная в своем роде страна, где даже наличный неограниченно-монархический строй мог бы разрешить социальный вопрос перехода от мелкого производства к крупному общественному, игнорируя сословные и классовые поползновения различных привилегированных групп". А еще ранее, в 1870-х годах, мы ее находим у Ткачева, тоже верившего, что „у нас отношение общества к государству прямо противоположно западно-европейскому. У нас не борьба классов обусловливает данный государственный строй, а, наоборот, этот строй вызывает к жизни те или другие классы, с их борьбой и антагонизмом" [1]. Откуда такая популярность помещичьей, по происхождению, теории?

Исторических причин было несколько—они подробно мною охарактеризованы в цитированных сейчас статьях. *Социальные* же корни этой популярности так хорошо схвачены были Лениным еще 30 лет тому назад, что остается только повторить его слова.

„Они—говорит Ленин о „друзьях народа", т.-е. о правых, нереволюционных, народниках 1890-х годов,—орудие реформ видят в органе, выросшем на почве этого современного об-

[1] Излагаю словами Плеханова, соч. т. I, стр. 317. Для всех деталей см. мои статьи в «Вестнике Социалистической Академии», №№ 1, 2 и 4 за 1923 г., см. ниже, стр. 55.

щества и охраняющем интересы господствующих в нем классов—в государстве. Они прямо считают его всемогущим и стоящим над всякими классами, ожидая от него не только „поддержки" трудящегося, но и создания настоящих, правильных порядков (как мы слышали от г. Кривенко). Понятно, впрочем, что от них, как чистейших идеологов мещанства, и ждать нельзя ничего иного. Это, ведь, одна из основных и характерных черт мещанства, которая, между прочим, и делает его классом реакционным,—что мелкий производитель, разобщенный и изолированный самими условиями производства, привязанный к определенному месту и к определенному эксплоататору, не в состоянии понять классового характера той эксплоатации и того угнетения, от которых он страдает иногда не меньше пролетария, не в состоянии понять, что и государство в буржуазном обществе не может не быть классовым государством. Почему же это, однако, почтеннейшие г.г. „друзья народа", до сих пор,—а со времени самой этой освободительной реформы с особенной энергией,—правительство наше „поддерживало, охраняло и создавало" только буржуазию и капитализм? Почему этакая нехорошая деятельность этого абсолютного, якобы над классами стоящего, правительства совпала именно с историческим периодом, характеризующимся во внутренней жизни развитием товарного хозяйства, торговли и промышленности? Почему вы думаете, что эти последние изменения во внутренней жизни являются последующими, а политика правительства—предыдущим, несмотря на то, что первые изменения происходили так глубоко, что правительство даже не замечало их и ставило им бездну препятствий, несмотря на то, что то же „абсолютное" правительство при других условиях внутренней жизни „поддерживало", „охраняло" и „создавало" другой класс" [1].

Мелкая буржуазия часто рядится в обноски крупной. Но не годится одевать в эти обноски пролетариат...

Подведем итоги. Историческая теория тов. Троцкого не есть теория Маркса (как, к слову сказать, и теория перманентной революции того же автора). Маркс иначе представлял себе возникновение капитализма — он не забывал деревни, к которой упорно поворачивался спиной, во всех своих теориях, т. Троцкий.

Сказать, что теория Троцкого не есть теория Маркса значит наполовину уже определить социальную природу учения

[1] „Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов", изд. 1923 г., стр. 131-132.

об „особенностях исторического развития России". Двух пролетарских концепций быть не может. Если Марксова концепция—пролетарская, то, значит, концепция т. Троцкого имеет какую-то другую классовую базу. Учение о всемогуществе государства помогает дополнить определение и сделать его исчерпывающим. Историческая теория Троцкого совершенно подтверждает тот приговор, который вынесла партия о троцкизме вообще.

„Коммунистический Интернационал"
1925 г., № 3 (40).

Откуда взялась внеклассовая теория развития русского самодержавия?

I.

Раздосадованный неудачным ответом Морица Вирта на книгу Пауля Барта, критиковавшего исторический материализм, семидесятилетний Энгельс обмолвился одной фразой, по существу совершенно верной, но вызвавшей великое шатание умов: „если материальные условия существования являются primum agens (основной причиной), это не исключает того, что идеальные области могут, опять-таки, оказывать на материальные условия существования обратное, но второстепенное влияние".

По существу, повторяем, это совершенно правильно. Энгельс был не только гениальный теоретик, но и великий историк— и его историческое чутье возмущалось тем дубоватым педантизмом, в который впадали тогдашние (1890-го года) неофиты материалистического метода в Германии. Да, конечно, „идеальные области" могут оказать колоссальное воздействие на экономику. Возьмите телефон: это научное изобретение, т.-е. нечто от „идеальной области". Но кому же придет в голову отрицать огромное экономическое значение телефона, в сотни раз ускорившего всякие деловые сношения, переговоры и т. д.

То же можно повторить по поводу любого изобретения. И то, что верно относительно „идеальной области", называемой наукой, правильно и по отношению к другой идеальной области, именуемой политикой. Ватерлооское сражение, манифест 19 февраля, падение кабинета Ллойд-Джорджа,—все это чисто политические события, но было бы смешным педантизмом отрицать экономические последствия, которые они имели или могут иметь. Поражение Франции Англией в 1815 году означало окончательное крушение той монополии для французских мануфактур на рынках европейского континента, которую пытался осуществить Наполеон своею континентальной блокадой. Экономиче-

ский факт первостепенной важности, крестьянская реформа 1861 года стремилась к увековечению в русской деревне мелкого самостоятельного производителя, полу-батрака, полу-арендатора, и об экономических последствиях этих стремлений приходится говорить каждому русскому историку-марксисту. Падение Ллойд-Джорджа кладет конец той политике экономического соглашательства, при помощи которой английская буржуазия третий год балансирует над пропастью социальной революции. Теперь этой буржуазии кажется, что пора заменить тонкую проволоку, на которой танцовал уэльский волшебник, чем-то более прочным, что могло бы выдержать тяжесть слонов империализма. Но подставит ли английский рабочий покорно свою выю под эту тяжесть? Не оборвется ли и проволока, так что и танцовать будет не на чем? Как бы то ни было, для дальнейшего течения английского промышленного кризиса перемена министерства—факт далеко не безразличный.

Все это так. Но попробуем перевернуть вопрос. А была ли бы какая-нибудь польза от телефона (мы берем старый, проволочный тип) кочевой орде или шайке норманских викингов? Пригодился ли бы он на что-нибудь древне-русскому печищу, где все члены хозяйства живут в одной избе? А главное: можно ли себе представить массовое распространение телефонов в стране, где нет высокоразвитой промышленности? Как только вы поставите все эти вопросы, вам тотчас же станет ясна, прежде всего другого, вся экономическая обусловленность влияния „идеальной области". Величайший математик, заброшенный в страну эскимосов, был бы там самым бесполезным и беспомощным существом — пожалуй, более беспомощным, чем эскимос на улице Нью-Йорка. Влияние представляемой им „идеальной области" было бы равно нулю. А вот в современной крупной промышленности без математики, как известно, ни шагу—и не только в чистой технике, но и в экономической теории.

Это во-первых. А во-вторых и само влияние „идеальных областей" может быть лишь „второстепенным", как опять совершенно правильно отмечает Энгельс. Ватерлоо все-таки не помешало развитию французской промышленности, и к середине XIX века Франция все же была единственной на континенте Европы соперницей Англии — в некоторых областях соперницей счастливой [1]. Как ни старалась крестьянская реформа предупредить проникновение буржуазных отношений в русскую деревню и образование у нас пролетариата, все же

[1] Шелковые и более высокие сорта шерстяных материй.

крестьянин был, в конце концов втянут в рамки капиталистического хозяйства, пролетариат в России образовался и выполнил свою историческую миссию. Не только возникновение явлений „идеальной области" обусловлено экономически (Ватерлоо было бы бессмыслицей без англо-французского экономического соперничества), но и их последствия хватают лишь так далеко, как позволяют экономические условия.

Все это неоднократно излагал Энгельс в своих других писаниях. Повторяю, он восставал лишь против историко-материалистического педантизма, который старался отыскать непосредственно экономическое основание для каждой мелочной исторической перемены, доводя свой собственный метод до абсурда и помогая противникам делать его смешным. К сожалению, дурное настроение от неудачной критики Морица Вирта у Энгельса не проходило и, приблизительно через месяц (письмо от 21 сент. 1890 г.), он разразился настоящей палинодией, где можно прочесть и упрек „молодым" за то, что они „иногда придавали больше значения экономической стороне, чем следует", и даже фразы, которые при беглом чтении могут быть поняты так, что в деле возвышения Пруссии главную роль играли не экономические причины.

Можно опасаться, что это письмо Энгельса оказало бо́льшую услугу противникам марксизма, нежели книга Пауля Барта. Энгельс был сильно разгневан на Морица Вирта, а гнев— плохой советчик. Но было бы минимумом справедливости прилагать к самому Энгельсу и его высказываниям тот метод, которого он требует от исследователя в применении к сложному комплексу исторических явлений. Нельзя выдергивать отдельное письмо или даже отдельные фразы из письма и утверждать: вот как думал Энгельс. Нужно брать все письмо, — а в нем есть не только то, что нами сейчас отмечено,—и всю совокупность писаний Энгельса на эту тему,—а она совершенно исключает всякую возможность того толкования „неосторожных" фраз письма, которое склонен был дать, повторяем, лишь не очень осторожный читатель. Прошел еще месяц, неудача Морица Вирта успела сгладиться в памяти Энгельса, и он (в письме от 27 октября 1890 г.) дает такую великолепную материалистическую характеристику „эпохи открытий", что читать ее— истинное наслаждение после письма от 21 сентября [1].

[1] „Открытие Америки было вызвано голодом в золоте, который еще раньше погнал португальцев в Африку, потому что европейская промышленность, так могуче расширившаяся в XIV и XV в.в., и соответствовавшая ей торговля требовали орудий обмена, которых Германия,—великая страна серебра в 1450—1550 г.г.—дать не могла.—Завоевание Индии португальцами,

На нашу, русскую, беду все это было еще совсем свежо в памяти людей, когда разразился среди наших марксистов бой экономистов с искровцами. В борьбе с экономической нелепостью, пытавшейся сотворить нечто вроде английского тред-юнионизма в обстановке самодержавной монархии и делавшей политическую борьбу привилегией буржуазии, оставляя рабочему лишь борьбу из-за пятачка, было агитационно необходимо подчеркнуть самостоятельное значение политической стороны. Было агитационно необходимо, а марксистски совершенно правильно указать на то, что самодержавие есть общий враг и, как помеха экономическому развитию страны, прежде всех — враг пролетариату, бревно на дороге к его лучшему будущему, что сбросить это бревно — очередная задача тогдашнего (1900—1903 г.г.) текущего момента.

Все это было совершенно правильно, и отсюда никоим образом не следовало, что самодержавие есть какая-то внеклассовая сила, возникшая сама по себе не из условий экономического развития, а каким-то другим непостижимым путем. Не следовало даже в том случае, если бы мы приняли, что самодержавие в начале XX века было совершенно устаревшей исторической бессмыслицей, вроде того, как дворянские манчестерцы изображали перед 1861 годом крепостное право. На самом деле таким не было, на всем пространстве России и для всех типов помещичьего хозяйства, даже крепостное право; а самодержавие, недурно приспособлявшееся к потребностям капиталистического развития, не было таким ни в какой мере. Будь оно таким, для его низвержения в самом деле было бы достаточно, на крайний случай, дворцового переворота, вроде задумывавшегося кадетами зимою 1916 — 1917 года, и не потребовалось бы двух десятилетий ожесточенной массовой борьбы. Но если бы даже мы стали на эту неисторическую точку зрения самодержавия, как практически ненужного, бессмысленного остатка прошлого,—все-таки для марксиста оставался вопрос: а в те дни, когда оно было нужно и не было бессмыслицей, зачем оно было нужно, каким экономическим потребностям отвечало, каков был его классовый смысл?

Ответ—самодержавие было всегда самостоятельной силой—было бы явно, грубо не-марксистским. И от такого рецидива до-марксистской идеологии мы были, казалось бы, всецело за-

голландцами, англичанами с 1500 по 1600 г.г. имело целью ввоз из Индии. О вывозе туда ни один человек не думал. И все же как колоссально обратное действие на промышленность этих открытий и завоеваний, вызванных чисто торговыми интересами. Только потребности вывоза в эти страны создали и развили крупную промышленность (в Европе)".

страхованы тем, что русский марксизм, в лице Плеханова, задолго до этого начисто ликвидировал подобную идеологию, именно в применении к пониманию русского исторического процесса. Напомним, как иронически излагал Плеханов подобную точку зрения в „Наших разногласиях", говоря специально о Ткачеве.

„Противопоставление России Западу и здесь с успехом разрешает все трудности. На Западе существуют классы, резко разграниченные экономически, сильные и сплоченные политически. Само государство является там результатом классовой борьбы и ее орудием в руках победителей. Поэтому овладеть государственной властью там можно, лишь противопоставивши классу класс, лишь победивши победителей. У нас— не то, у нас отношение общества к государству прямо противоположно западно-европейскому. У нас не борьба классов обусловливает данный государственный строй, а, наоборот, этот строй вызывает к жизни те или другие классы с их борьбой и антагонизмом. Если бы государство решилось изменить свою политику, то, лишенные его поддержки, высшие классы были бы осуждены на гибель, а народные начала первобытного коллективизма получили бы возможность „дальнейшего здорового развития". Но правительство Романовых не хочет и не может отказаться от своих дворянско-буржуазных традиций, между тем как мы и хотим и можем сделать это, мы одушевлены идеалами экономического равенства и „народоправления". Поэтому долой Романовых и да здравствует наш комитет,— неизменная схема российско-якобинской аргументации, встречается ли она в оригинале, т.-е. в „письме к Фридриху Энгельсу" или в „списке", т.-е. в статье „Чего нам ждать от революции" [1].

Так писал Плеханов в 1884 году, писал, исходя из того классического понимания исторического материализма, которое составляет основу действительно марксистского истолкования истории. Но в промежутке между 1884 и 1900 годом легли, широко известные в марксистских кругах, высказывания Энгельса, легла борьба с экономистами—и в начале XX столетия ткачевская формулировка вдруг оказалась приемлемой для русских „молодых" (в те дни!) марксистов. И Плеханов с ними уже не спорил так, кек некогда с Ткачевым. Учение об „относительной" самостоятельности политического момента стало своего рода догмой. Получилась курьезная спайка между крайним левым марксизмом и кадетской идеологией в лице Милюкова. У Пле-

[1] Сочинения Г. В. Плеханова, т. I, стр. 317.

ханова хватило мужества из этого идейного сродства вывести практические выводы: он стал проповедывать союз с кадетами. И этим, казалось бы, противоестественное сочетание буржуазной идеологии с марксизмом должно было бы быть убито хотя бы политически. Быть может, поэтому, пока шла борьба с буржуазией, оно и оставалось в тени. Но вот борьба кончилась, кончилась победой пролетариата; бояться „плехановщины" 1906 года более не приходится, буржуа из политического противника превратился в технического „спеца", которого нужно „использовать" (в 75% всех случаев он „использовывает" нас), и старый эклектизм 1900 года возрождается снова: и на этот раз уже не ради почтенной все же задачи концентрации всех сил на очередной, ударной работе — низвержения абсолютизма.

Сейчас уже нет опасности, покушаясь на „догму", прослыть сторонником „экономизма". Напротив, есть судьба Плеханова, как образчик того, к чему приводит „догма" людей, склонных мыслить последовательно. Ибо Плеханов сделался оборонцем не в 1914 году, это—легенда. Первый том „Истории русской общественной мысли",—вышедший, правда, буквально накануне начала империалистской войны, но резюмировавший все, что передумал автор по поводу исторического развития России за все предшествовавшие годы,—есть философия истории оборончества. Где там классовая борьба? Ее вы не найдете и следа: найдете государство с его потребностью внешней защиты. Есть слабые попытки связать чисто внешним, формальным образом эту потребность государственной обороны непосредственно с развитием народного хозяйства (как раз та ошибка, от которой предостерегал Энгельс!), но тут уже „материализм" и кончается. Дальше никакой разницы с Милюковым нет.

Но мы слишком много делаем чести редактору „Последних Новостей", связывая анти-марксистское понимание русской истории исключительно с его именем. Мы видели, что Плеханов разоблачал ту же теорию в 1884 году, когда Милюков только что окончил университетский курс, как теорию Ткачева, писавшего в 70-х годах—когда Милюков был гимназистом. В то же время мы встречаем ее в 1894 году под пером автора, который тогда был одинаково далек и от Плеханова и от Милюкова. „Россия,—писал в этом году Виктор Чернов (тогда еще не эс-эр, а народоправец),—по слабому развитию в ней различных сословий и большой силе правительственной власти, есть единственная в своем роде страна, где даже наличный неограниченно-монархический строй мог бы разрешить социальный вопрос перехода от мелкого производства к крупному общественному,

ингорируя сословные и классовые поползновения различных привилегированных групп“ [1].

Жалко, что это приведение к нелепости внеклассовой теории не попалось на глаза Плеханову: оно, вероятно, подействовало бы на него так же, как статья Морица Вирта на Энгельса, и было бы, может статься, поводом к спасительной реакции. Но „труд“ Чернова дождался опубликования лишь в 1922 году... Не будем, однако, гадать, что было бы: из приведенного ясно, что внеклассовая теория происхождения русского самодержавия и шире и старше того мировоззрения, которое по праву можно охарактеризировать, как „кадетское“. И если самодержавие не могло свалиться с неба, то не могла упасть оттуда же и названная теория. Показать, в какой об'ективной обстановке она возникла, какие исторические условия вызвали ее к жизни, каков был ее классовой смысл—обязанность историка-марксиста, и в то же время лучший способ ее критики.

Первый, кто свел русскую историю к истории государства, а историю государства—к истории самодержавия (точнее, единодержавия), был Карамзин. Но его идеология, очень точно отразившая политические потребности барщинного имения начала XIX века, потеряла смысл вместе с барщинным хозяйством. Новейшие „государственники“ ведут свою родословную поэтому не от Карамзина, но все же от времен, достаточно давних...

Развернем одну книжку, вышедшую в Москве в 1858 году (даже 19 февраля было еще впереди!); на стр 227 автор рассказывает здесь о возникновении в России крепостного права на крестьян. „Если,—говорит он,—мы на эти постановления взглянем отрешенно от существовавшего в то время порядка вещей, то нам покажется весьма странным и непонятным делом уничтожение одним указом свободы целого сословия, которое искони пользовалось правом перехода. Но если мы рассмотрим их в связи с другими явлениями жизни, в связи с предыдущей историей, мы убедимся, что в этом не было ничего исключительного и несправедливого. Это было укрепление не одного сословия в особенности, а всех сословий в совокупности: это было государственное тягло, наложенное на всякого, кто бы то ни был. Все равно должны были всю жизнь свою служить государству, каждый на своем месте: служилые люди на поле брани и в делах гражданских, тяглые люди—посадские и крестьяне, отправлением разных служб, податей и повинностей, наконец, вотчинные крестьяне, кроме уплаты податей и отпра-

[1] «К истории партии Народного Права», Красный Архив, т. I, стр. 284.

вления повинностей, также службою своему вотчиннику, который только с их помощью получал возможность исправлять свою службу государству. Служилые люди не были укреплены к местам, ибо служба их была повсеместная. Тяглые же люди, как мы уже видели, считались крепостными и не могли уходить с своих мест. Невозможно было не распространить этого положения и на вотчинных крестьян. Во времена всеобщего укрепления это было бы несправедливым исключением"... „Итак, этот переворот в судьбе крестьянского сословия был необходимым последствием условий тогдашнего быта. Но каким же образом мог он совершиться без сильных потрясений? Только в пословице: „вот тебе, бабушка, и Юрьев день"—сохранилось о нем воспоминание в народе. Мы найдем этому об'яснение, если взглянем на способы укрепления бояр и служилых людей. Последние также пользовались правом перехода: „а боярам и слугам вольным—воля". Но когда уничтожилась удельная система, московские государи стали требовать, чтобы они перестали от'езжать. И вот, без переворота, даже без указа, бояре и служилые люди из вольных слуг делались крепостными и стали писаться холопами. Дело в том, что требованиям государства ни бояре, ни крестьяне не могли противопоставить такого деятельного сопротивления, как, например, феодальные владельцы на Западе. Они были для этого слишком разрознены. Бояре и слуги могли протестовать только бегством да крамолами; их сделали холопами, а они все-таки продолжали от'езжать. Точно также и крестьяне, несмотря на укрепление, продолжали уходить тайком. Весь XVII век наполнен исками о беглых крестьянах. Даже бедствия Смутного времени должно приписать, главным образом, этому протесту боярства и крестьянства против требований государства. Но последнее взяло, наконец, верх, потому что на стороне его было право. Оно не делало исключений ни для кого: оно от всех сословий требовало посильной службы, необходимой для величия России. И сословия покорились и служили эту службу. До самых времен Екатерины продолжалась эта система повинностей, которая лежала в основании всех учреждений того времени. Но когда государство достаточно окрепло и развилось, чтобы действовать собственными средствами, оно перестало нуждаться в этом тяжелом служении. При Петре III и Екатерине с дворянства сняты были его служебные обязанности. Жалованною грамотою 1785 года оно получило разные права и преимущества, как высшее сословие в государстве; оно получило в собственность и поместные земли, которые сначала даны были ему только как временное владение для содержания на службе. Это была

награда за долговременное служение отечеству. Городское сословие также получило свою жалованную грамоту, и оно освободилось от повинностей и службы и приобрело различные льготы и приемущества. Оставались одни крестьяне, которые, подпавши под частную зависимость и приравнявшись к холопам, доселе несут свою пожизненную службу помещикам и государству. В настоящее время уничтожается, наконец, и эта последняя принудительная связь: вековые повинности должны замениться свободными обязательствами. В настоящее время окончательно разрешается та государственная задача, которая была положена в XVI веке, и начинается для России новая пора".

Выписки немного длинны, но как быть: здесь первая формулировка нашей теории, какая имеется в литературе. Тут и сила государства (налагавшего свое тягло „на всякого, кто бы он ни был"), и слабость сословий („были... слишком разрозненны"), и даже первые проблески оборончества („служба необходима для величия России"). Но суть этой зачаточной формы теории не в оборончестве: оно пристало позже и затуманило классовый смысл всей картины. Отцу теории государство было нужно не с оборонческими целями: на другой день Севастополя на эту удочку рыба не ловилась.

Кто был этот отец? Борис Николаевич Чичерин. Имя, которое всякому русскому марксисту должно быть знакомо не хуже, чем имя Жана-Батиста Сэя или Шульце-Делича. Главный литературный противник русского социализма во второй половине XIX столетия—своего рода анти-Чернышевский и анти-Лавров. Правда, его полемика с социалистами читалась мало, зато его исторические и юридические теории пользовались величайшим кредитом и почетом в известных кругах еще в 90-х годах прошлого столетия: я помню, с каким почти благоговением передавал мне около 1892 года П. И. Новгородцев другую его книжку („Несколько современных вопросов", 1862 г.; предыдущие цитаты взяты из „Опытов по истории русского права"). Для буржуазных публицистов Чичерин был тогда тем же, чем был для социал-демократов Плеханов.

Эта другая книжка может служить ключом к первой. Она начинается знаменитой полемикой Чичерина с Герценом—полемикой, которая, кстати, относится к тому же самому 1858 году, когда вышли в России „Опыты". Чем вызвано было нападение Чичерина на Герцена? Внешним поводом были споры Чичерина с Герценом в Лондоне, куда Чичерин ездил специально, чтобы образумить издателя „Колокола". Тот в эту минуту был в упоении от своего „влияния" в высших сферах русского общества, писал открытые письма к Александру II

и к императрице Марии Александровне, словом, казалось, так мало был похож на революционера, как только можно. Но Чичерину этого было мало. И легко себе представить, с каким, буквально, остолбенением Герцен (Герцен 1858 года, Герцен „Галилеянина“, отнюдь не Герцен 1849 года и „писем из Франции и Италии“) должен был читать такие строки. „Впрочем, я забываю, что вы к гражданским преобразованиям довольно равнодушны. Гражданственность, просвещение не представляются вам драгоценным растением, которое надобно заботливо насаждать и терпеливо лелеять, как лучший дар общественной жизни. Пусть все это унесется в роковой борьбе, пусть, вместо уважения к праву и закону, водворится привычка хвататься за топор,—вы об этом мало тревожитесь... На каждом из нас, на самых незаметных деятелях, лежит священная обязанность беречь свое гражданское достояние, успокаивать бунтующие страсти, отвращать кровавую развязку. Так ли вы поступаете,—вы, которому ваше положение дает более широкое и свободное поприще, нежели другим? Мы в праве спросить это у вас, и какой дадите вы ответ? Вы открываете страницы своего журнала безумным воззваниям к дикой силе; вы сами, стоя на другом берегу, с спокойной и презрительной иронией указываете нам на палку и на топор, как на поэтические капризы, которым даже мешать неучтиво. Палка сверху и топор снизу—вот обыкновенный конец политической проповеди, действующей под внушением страсти... Нет, всякий, кому дорога гражданская жизнь, кто желает спокойствия и счастья своему отечеству, будет всеми силами бороться с такими внушениями, и пока у нас есть дыхание в теле, пока есть голос в груди, мы будем проклинать и эти орудия и эти воззвания“.

Герцен большевик. Герцен—чуть не Стенька Разин и Пугачев! Герцен (только что написавший императрице письмо, „теплота“ которого умиляла петербургских литераторов едва ли не до Кавелина включительно) „взывает к дикой силе“, хочет решать все вопросы топором и палкой! И, конечно, Герцену уготовано то, что ждет всех большевиков во все времена и у всех народов: „Представьте себе, что в недрах нашего отечества завелось бы несколько „Колоколов“, которые бы все в разные голоса стали звонить по вашему примеру, которые бы наперерыв стали бы раздувать пламя, разжигать страсти, взывать к палке и топору для осуществления своих желаний. Что будет правительство делать с таким обществом? К чему может повести разгар общественных страстей, как не к самому жестокому деспотизму? Каждая

почти революция представляет этому пример. И точно, если больной, вместо того, чтобы спокойно и терпеливо выносить лечение, предается бешеным порывам, растравляет себе раны и хватается за нож, чтобы отрезать страдающий член, с ним нечего больше делать, как связать его по рукам и по ногам".

И, заметьте, никому, начиная с самого Герцена, ни на минуту не приходило в голову сомневаться в искренности Чичерина. Лично это был безукоризненно честный человек, вовсе не карьерист и не наемное перо. Что же так его, непочтительно выражаясь, взбудоражило в невиннейшем, на наш взгляд, умеренно либеральном „Колоколе" 1858 года?

Он это сам об'ясняет. „Вспомните еще раз, в какую эпоху мы живем. У нас совершаются великие гражданские преобразования, распутываются отношения, созданные веками. Вопрос касается самых живых интересов общества, тревожит его в самых глубоких его недрах. Какая искусная рука нужна, чтобы примирить противоборствующие стремления, согласить враждебные интересы, развязать вековые узлы, чтобы путем закона перевести один гражданский порядок в другой. Здесь также есть борьба, но борьба другого рода, без сильных эффектов, без гневных порывов, борьба обдуманная, осторожная, озаренная мыслью, неуклонно идущею по избранному пути. В такую пору нужно не раздувать пламя, не растравлять язвы, а успокаивать раздражение умов, чтобы вернее достигнуть цели. Или вы думаете, что гражданские преобразования совершаются силою страсти, кипением гнева?"

Итак, для крестьянской реформы нужна была „искусная" (Чичерину следовало бы прибавить и „крепкая") рука, которая „согласила" бы „враждебные интересы". Достаточно самого общего знакомства с историей 19 февраля, чтобы расшифровать эти дипломатические фразы. О чем шло дело? Об освобождении крестьян? Меньше всего—об этом почти не было споров. Чистые крепостники в высших сферах прималкивали, в низших просто не умели об'ясняться членораздельно. Для деловой части дворянства, ведшей реформу, вопрос был в том, чтобы заставить крестьян выкупить свою свободу—под видом выкупа земли, притом так, чтобы в руках помещиков остался порядочный капитал, а крестьяне не были обеспечены землей настолько, чтобы не нуждаться в заработках, которые могла дать барская экономия. Словом, помещику нужен был „труд и капитал". Получение того и другого было весьма деликатной операцией, требовавшей огромного нажима сверху. Даже Александр II понимал, чем может кончиться, когда крестьяне увидят перед собою свободу „не по их разумению",

а „царь-освободитель", не будучи столь ограниченным человеком, как его сын и внук, все же не был и гением. Людям калибра Чичерина дело было еще более ясно: насилие над многомиллионной крестьянской массой могло стоить головы. И в эту минуту Герцен, сидя в „прекрасном далеке", куда тамбовские мужики (Чичерин был тамбовским помещиком) не придут ни в каком случае, находил возможным печатать корреспонденции, где говорилось о топоре и тому подобных ужасах... Одно дело видеть топор, когда им колют дрова, другое дело сознавать, что этот топор может каждую минуту опуститься на вашу шею. Было от чего притти в нервное настроение.

Для того, чтобы реформа „благополучно", с точки зрения помещиков, дошла до конца, нужна была диктатура: всякое нарушение монополии власти в этом деле грозило бесчисленными опасностями. Не понимавший этого Герцен, смотревший на „освобождение крестьян" сентиментально-романтически, был опасен уже своими попытками нарушить монополию. „Вам,— с негодованием писал ему Чичерин,—во что бы то ни стало нужна цель, а каким путем она достигнется—безумным и кровавым или мирным и гражданским, это для вас вопрос второстепенный". Но в Тамбове это был далеко не такой „второстепенный" вопрос, как в Лондоне. Пером Чичерина водило вовсе не „доктринерство", в котором упрекал его Герцен, а здоровый классовый инстинк помещика, желавшего реформы— но именно „реформы", т.-е. ограбления крестьян, а отнюдь не „падения крепостного права" революционным путем.

Теперь перенесите все эти чаяния и опасения в историческую плоскость. Человек, в данную минуту все строивший на силе правительственной власти (по его отвлеченной терминологии, на „силе государства"), став историком, должен был, для успокоения себя и своего класса, искать доказательств этой силы, и слабости „сословий", особенно крестьянства. И, смазав Смутное время, позабыв о разинщине и пугачевщине— о них, кстати, и цензура не позволяла вспоминать—он без труда их находит: крестьян, вот, закрепостили „без сильных потрясений" — стало быть, удастся и „освободить" так же. „Сословия у нас слабы, а власть сильна". К тому же „на стороне государства было (и есть) право". Кто же может ему противиться?

Философия истории тамбовского полу-крепостника — вот как в краткой формуле можно определить нашу теорию в зачаточном виде. Но эта формула не исчерпывает всего вопроса: имея только ее, мы не поймем, почему эта теория получила

такое огромное распространение и влияние. То и другое ей дали, во-первых, связи с обще-европейскими идейными течениями и, во-вторых, те дальнейшие выводы, которые из нее могла сделать, и сделала, буржуазия.

II.

Если бы теория Чичерина отвечала только интересам известной части русских помещиков перед 1861 годом, она потеряла бы интерес одновременно с осуществлением „крестьянской реформы". Между тем, мы встречаем ее и долго спустя. Живущее поколение и знает ее не из Чичерина, а из Ключевского. „В других странах мы знаем государственные порядки, основанные на сочетании сословных прав с сословными обязанностями или на сосредоточении прав в одних сословиях и обязанностей в других. Политический порядок в Московском государстве основан был на разверстке между всеми классами только обязанностей, не соединенных с правами". „Такой своеобразный склад государственного порядка об'ясняется господствующим интересом, его создавшим. Этим интересом было ограждение внешней безопасности народа"...

Эти слова Ключевского [1] сказаны в 1886 году—почти 30 лет спустя после появления „Очерков" Чичерина. Что-то обеспечило основной идее последних долговечность, далеко большую обычного жизненного срока публицистических мотивов.

Об одной стороне дела достаточно сказать несколько слов. Всем известно, какое колоссальное значение философия Гегеля приписывала государству. Образование государства было своего рода „экзаменом зрелости" для народа—от исхода этого экзамена зависело, получит ли он звание „исторического". Подчеркнуть особую роль государства в создании России, доказать в ней существование „государственных начал" еще до Петра и при Петре—значило дать ей на этом экзамене высшую отметку. Не беда, что Гегелевские идеи в применении к русской истории разрабатывались преимущественно западниками: „западник", ведь, вовсе не обозначало „интернационалиста", боже упаси. Западник тоже стремился к „славе и величию России",—только он видел эту славу и величие не в том; в чем видели их славянофилы.

Но гегельянство не было помещичьей философией истории—оно было философией истории буржуазного общества. Именно

[1] „История сословий", по изд. 1918 г., стр. 120—121.

поэтому оно так высоко ставило государство, силу надклассовую, как ему представлялось, потому что оно, современное государство, было оружием в борьбе буржуазии с феодальными сословиями. Чтобы победить, оно должно было подняться над ними и стать классовым буржуазным, т.-е. для буржуазии все—классовым, ибо буржуазия твердо помнила, что в новом обществе она—все. И эту роль государство играло одинаково как во Франции, где оно было созданием революции, так и в Германии, где реформы эпохи Наполеоновских войн были тем же тараном, ломающим феодальные перегородки в угоду нарождающемуся капиталу. Средневековый таран действовал, конечно, хуже, чем революционная артиллерия, но все же наломал достаточно, чтобы проложить дорогу классовому капиталистическому обществу [1].

И у нас в России крестьянская реформа, хотя и проведенная дворянами и так, как им было нужно, об'ективно служила интересам промышленного капитала, которому она дала „свободного" рабочего. И нашим гегельянцам казалось, что государство Александра II—венец творенья. „Толки о представительстве вызваны у нас вовсе не стремлением ограничить самодержавие,—писал Чичерин еще в 1881 г.—В России большинство не ищет ни большей личной свободы, ни гарантии против власти, той общественной свободы, которой у нас пользуется гражданское лицо, совершенно достаточно". А четырьмя годами раньше самый умный и чуткий из тогдашних буржуазных публицистов России, Кавелин, выражал глубокую уверенность, что в России „всякие ограничения верховной власти, кроме идущих от нее самой, были бы невозможны, и потому, как иллюзия и самообольщение, положительно вредны". „Железная рука" была необходима не только непосредственно для проведения реформы, а и долго спустя—до тех пор, пока буржуазия не почувствовала, что она может стоять на собственных ногах. В России это ощущение явилось у буржуазии только к началу XX столетия.

На тему о бюрократическом абсолютизме, как аппарате развивающегося капитализма, не только торгового капитализма, но и промышленного, на ранних ступенях развития, можно было бы

[1] См. Фр. Меринг „История Германии с конца средних веков"—в русском переводе И. Степанова, стр. 93-94. Ср. далее его же характеристику Гегеля на стр. 116: „Идеал правового государства, построенный Гегелем в его „Философии права" было отражением прусского государства 1821 г.". В областях Германии, непосредственно подвергшихся влиянию французского законодательства, как Вестфалия, дело пошло еще гораздо дальше. См. там же, стр. 95.

написать очень много. Мы нередко совершенно без разбора усваиваем себе либеральные оценки, идущие вовсе не от настоящей буржуазии, а из среды именно резоряемого победоносно шествующим капитализмом („чумазый идет!“) дворянства. На самом деле, антагонизм дворянина и чиновника был очень часто замаскированной формой антагонизма землевладения и капитала. Цепь русских министров финансов, от Канкрина до Витте, лучше представляла интересы этого капитала, нежели это могло бы делать какое-нибудь худосочное „совещательное представительство“. Наше финансовое законодательство было такой же реализацией пожеланий промышленных с'ездов, как законодательство Екатерины II — реализацией пожеланий дворянства в 1760-х годах. И не мудрено, что представители промышленности 1880-х г.г. находили „сомнительной“ пользу от „выборных учреждений“ политического характера: от добра добра не ищут [1].

Но анализ „классовой природы“ русского бюрократизма отвлек бы нас слишком далеко от нашей темы—от вопроса о причинах живучести теории внеклассового самодержавия. Эти причины следует искать именно в том, что теория была выгодна буржуазии, но выгоды лежали ближайшим образом не в области внутренней, а в области внешней политики. Если реформа 1861 г. дала в теории мотив „закрепощения“ и „раскрепощения“, то мотив „оборончества“ дал ей русско-английский конфликт, развертывавшийся на пространстве полустолетия, от 1830-х до 1880-х годов.

Экономический смысл этого конфликта [2] заключался в попытках русской мануфактуры прорваться на юг от Черного моря, Кавказского хребта и Каспийского моря в страны передней Азии, где, как еще в 1836 году находил государственный совет Николая I, „при настоящем усовершенствовании фабрик и мануфактур, изделия наши могут начинать соперничество с иностранными, приготовляемыми собственно для азиатского торга, как в доброте так и в цене“... А так как „законными хозяевами“ мануфактурного рынка этих стран были уже в те времена англичане, то стремление русского самодержавия „пролагать оружием новые пути для торговли нашей на Востоке“ тотчас же встречало отпор со стороны „заграничной расчетливости“, в свою очередь стремившейся „заградить пути нам в Азию с той стороны, где иностранцы

[1] См. мою „Русскую историю“, т. IV, по второму изд. стр. 374—375.

[2] Более подробное его изложение мне приходилось давать несколько раз. См. „Русскую историю“, IV, стр. 29—43, и сборник „Внешняя политика“, М. 1919 г., стр. 154—157.

открыли новый сбыт своих произведений—сбыт, который, как известно, значительно озабочивает ныне Англию и Францию".

Эти последние слова кажутся написанными накануне Крымской войны,—а они взяты из „мнения" государственного совета от 4-го февраля 1832 года. Так глубоко в прошлое уходят корни конфликта. Но „Коварный Альбион" нашел целесообразным вынуть из ножен свой собственный меч только однажды, двадцать два года после того, как государственные люди николаевской России констатировали его коварство. И до и после этого события „пролагать вооруженной рукой новые пути" приходилось насчет ближайших мусульманских соседей России, Турции и Персии. То, что для историка является русско-английским конфликтом, для современной публики было русско-персидскими, а, главным образом, русско-турецкими войнами.

Идеологически это были войны „за закон". „Свойственная туркам лютость и ненависть их к христианству,—писала Екатерина в своем манифесте по поводу первой турецкой войны (1768 года),—законом магометанским преданная, стремится совокупно ввергать в бездну злоключений в рассуждении души и тела христиан, живущих не только в подданстве и порабощении их, но и в соседстве уже...". На практике государственный совет Екатерины находил, что „при заключении мира, надобно выговорить свободу мореплавания на Черном море, стараться об учреждении порта и крепости". Практические цели двигались все дальше и дальше, уже в 1829 году Николай I видел себя в мечтах „владыкой Константинополя", уже и Николая не было на свете, и Константинополь собирался брать его сын, Александр II,—а старая идеология все годилась: война попрежнему велась „за закон" и попрежнему мотивировалась стремлением освободить „древностью и благочестием знаменитые народы" от „ига Порты Оттоманской". Только к характеристике народов стали теперь прибавлять, что они не только „единоверные", но и единокровные—„братья-славяне". Греки, с „освобождения" которых началось дело, окончательно вышли из моды.

Мотив екатерининского манифеста вошел в состав „железного инвентаря" русской историографии. Для такого крупного историка, как Соловьев, война „за закон" является само собой разумеющимся и вполне бесспорным основанием русской восточной политики с конца XVIII века.

„С начала XVIII века в отношениях России к Западной Европе господствуют три вопроса: Шведский, Турецкий, или

Восточный и Польский; иногда они соединяются вместе по два, иногда все три"....

„Другой господствующий вопрос касался берегов другого моря,—Черного, ибо Россия, как известно, родилась на дороге между двумя морями,—Балтийским и Черным. Первый князь ее является с Балтийского моря и утверждается в Новгороде, а второй уже утверждается в Киеве и победоносно плавает на Черном море.

„Еще до начала русской истории Днепром шла дорога в Грецию, и потому, при первых князьях русских, завязалась тесная связь у Руси с Византией, скрепленная принятием христианства греческой веры, а по нижнему Дунаю и дальше на юг—сидели все родные славянские племена, тем более близкие к русским, что исповедывали ту же греческую веру. Когда турки взяли Константинополь, поработили и восточных славян греческой веры, Россия, отбиваясь от татар, собиралась около Москвы. Московское государство оставалось единственным независимым государством греческой веры; понятно, следовательно, что к нему постоянно обращены были взоры народов Балканского полуострова..." [1].

Читатель заметил модернизацию мотива при помощи „родных славянских племен". Но Соловьев был слишком крупный ученый, чтобы ограничиться такой газетной корректурой,— и он вводит новый мотив, которому и посчастливилось так у следующего поколения.

„Нестерпимое хищничество орд—Казанской, Ногайско-Астраханской и Сибирской—заставило Россию покончить с ними; но она не была в состоянии покончить с самою хищною из орд татарских—с Крымскою, которая находилась под верховной властью султана Турецкого. Крымский вопрос был жизненным вопросом для России, ибо, допустив существование Крымской орды, надобно было допустить, чтобы Южная Россия навсегда оставалась степью, чтобы вместо хлебных караванов, назначенных для прокормления Западной Европы в неурожайные годы, по ней тянулись разбойничьи шайки, гнавшие толпы пленников, назначенных для наполнения восточных невольничьих рынков...".

То, что в „Истории падения Польши" было лишь слегка намечено, стало лейтмотивом для всей „философии истории" русского народа после того, как новая турецкая война (1876—1878 г.г.) заново ремонтировала идеологию екатери-

[1] „Собрание сочинений" С. М. Соловьева, изд. „Общ. Пользы", стр. 3 (из „Истории падения Польши").

нинских манифестов. Подводя итог тридцатилетней работе в своей лебединой песни, статье о „Началах русской земли“ (написанной между 1877 и 1879 годами—последний был годом смерти Соловьева), на борьбе леса и степи он строит весь русский исторический процесс—если не исторический процесс вообще.

„Россия есть государство пограничное, есть европейская окраина, или украина, со стороны Азии. Это украинское положение России, разумеется, должно иметь решительное влияние на ее историю.

„В самой глубокой древности мы видим столкновения между народами, стоящими на разных ступенях развития, и происходившие, именно, от этого различия. Таковы были издавна противоположность и враждебность двух форм быта—кочевой и оседлой. Западная Европа и южные ее полуострова, бывшие главною сценою древней истории, по свойствам своей природы, не представляли никаких удобств для кочевого быта, и потому мы не находим в преданиях этих стран известий о нем и о столкновениях между кочевым и оседлым народонаселением. Азия и Африка в своих степях и пустынях давали—и до сих пор дают—возможность народам вести кочевой образ жизни; до сих пор средняя Азия, области, на-днях вошедшие в состав Русского государства, представляют любопытную картину отношений между кочевым и оседлым народонаселением, наглядно восстановляющую отношения, которые некогда существовали и в других местах, именно в Восточной Европе, на той обширной, прилежащей к Азии равнине, на которой образовалась русская государственная область.

... В первых известиях о Восточной России, записанных у Геродота, мы уже встречаемся с отношениями между кочевым и оседлым ее народонаселением. Геродот отличает скифов кочевых и скифов земледельцев, и говорит, что первые господствовали над вторыми. Мы не станем решать нерешимого вопроса, принадлежали ли эти два вида геродотовых скифов к одному племени или к разным: для нас важно отношение—кочевые господствуют над оседлыми; для нас важно то, что в известиях летописца о начале русской истории мы находим то же отношение: кочевники или полукочевники хозары, живя на востоке, у Дона и Волги, господствуют над оседлыми племенами славянскими, живущими на западе по Днепру и его притокам“ [1].

Опустошение оседлого мира кочевыми степняками настолько гипнотизирует Соловьева, а за ним и других истори-

[1] См. там же, стр. 764, 765.

ков, что лучше всего бороться с этой фантасмой посредством просто трезвого, реального изображения этих кочующих степняков, которые даже „постоянного жилища оседлого человека“ не могут увидеть, чтобы его не сжечь,—столь велика их ненависть к оседлости [1].

При отравлении историческими мифами, самым лучшим противоядием является археология. Дадим поэтому место нескольким строкам из неопубликованного пока отчета ученого, только что (уже в дни Советской России) выкопавшего из-под песков столицу самых грозных „степных хищников“, завоевавших Русь в XIII веке—татар. Описание относится к одной из столиц—так называемому „Старому Сараю“ (ныне село Селитренное). Другую татарскую столицу — „Новый Сарай“ (ныне город Царев) тот же археолог раскопал ранее—о ней мы скажем дальше несколько слов.

„Селитренские развалины превосходят по богатству и,—пожалуй, сохранности все, ранее мною изученное. Есть безусловная возможность на пл. в 39 кв. верст указать отдельные районы: центр, торговую часть, предместья, район заводской, шатровый город и громадный некрополь. Район заводской, повидимому, сохранил богатые следы металлургических, керамических, кирпичных и химических (поташных) заводов—это площадь более 100 дес.; центральный район ныне занят селом—на улицах села видны квадраты фундаментов,—одно древнее зернохранилище, построенное кибиткообразно, еще ныне служит погребом,—сохранился золотоордынский колодец; село окружают дюны, из которых ветры выдувают не только отдельные костяки, но целые стены тюрб некрополя. Благодаря порайонно собранному нами нумизматическому материалу, возможно установить время возникновения, расцвета отдельных районов... мною откопаны всего 6 строений: 1) мастерская (6 комнат), в которой выпиливались изразцовые мозаики,—здесь обнаружены остатки стенописи клеевыми красками, найдены 3 рукцака, готовых изразцовых плиток; 2) теккие [2] с прекрасно сохранившимся мозаичным полом; холм, на котором построено теккие, перерезан на значительную глубину сваями с капитальными переборками—это ранее неизвестный способ укрепления песков, применявшийся инженерами Орды; 3) тюрба [3], стены которой были облицованы дивными голубыми изразцами с тончайшим золотым рисунком;

[1] См. там же, стр. 786.
[2] Часовня.
[3] Надгробный памятник.

4 и 5) два жилых дома с канами; 6) горн для обжигания изразцов...".

Думается, этого довольно, чтобы показать, сколь ненавидели оседлость „степные хищники". С этой точки зрения особенно любопытен способ укрепления песков, изобретенный „кочевыми наездниками", поверхностному взгляду представлявшимися столь же подвижными, как сам песок пустыни. И этим примером далеко не исчерпывается техническое превосходство „жителей юрты" над не только „оседлым человеком" восточной Европы XIII века, но и над современным населением тех мест. Ибо у поволжского крестьянства и поныне нет центрального отопления,— а у татар оно было (китайского образца—это упоминающиеся выше „каны", рудиментарный прототип позднейшего духового отопления). Мы до сих пор только разговариваем об искусственном орошении в тех краях,—а в Новом Сарае тот же проф. Баллод нашел остатки целой сложной системы каналов, орошавших бахчи [1].

---

[1] Эта статья была уже написана, когда проф. Баллод имел любезность доставить мне второй, более подробный отчет о раскопках в районе города Царева. Там наиболее замечательны гидравлические сооружения—их целая сеть. Вот отрывки, касающиеся ее: „Район V, к северу от центра района II, расположен вокруг системы бассейнов, которые питаются водою из громадного водоема на сырту, с которым соединены двумя каналами. Бассейны вырыты на склоне сырта, покатого к югу, их всего—13. Расположены они в четыре ряда или яруса, каждый более южный ниже предыдущего. Бассейнов в первом ряду, считая от сырта—2, во втором—3, в третьем—5, в четвертом—4. Размеры бассейнов: 1-го ряда—75×48 и 72×48 арш., оба глубиною в 6 арш.; второго ряда—150×105 арш., глубиною в 6½ арш., 111×30 арш., 450×150 арш.; глубиною в 6½ арш., 3-го ряда—90×36 арш., 90×51 арш., 321×81 арш., 243×171 арш., 150×60 арш., все глубиною в 6 арш.; IV—219×75, 161×99, 165×120, 300×99, глубиною до 4½ арш. Бассейны, разделенные дамбами, сообщались шлюзами. Вообще же, благодаря напору, который получался в итоге падения воды с яруса на ярус,—бассейны являлись не только сборным источником для водоснабжения города, притом позволяющим отпуск любого количества воды, но также движущею силою для тех заводов, которые были устроены около дамб. Крестьянами была здесь найдена половина чугунного приводного колеса, весом около 9 пудов и 2 аршина диаметром.

„Наиболее интересным памятником былой жизни на территории Царева (в 6-ти верстах от города) является плотина, при помощи которой была устроена запруда на Кальгуте, на месте, где река оставляет сырт. Здесь русло реки образует громадный водоем, берега которого сближаются у самой грани степного сырта. Длина плотины по гребню 390 арш., ширина—45 арш. высота—22½ арш.; на ее западном конце когда-то был шлюз, о котором еще помнят жители Царева, но который был заменен новым в 1911 году, когда предполагалось реставрировать и надсыпать плотину. Ныне плотина на том и другом своем конце разрушена, ибо после упомянутых работ вешние воды смыли новые шлюзы и потоки воды частью подрыли и древние сооружения. Запруда должна была удержать действительно громадное коли-

Второй аспект нашей теории—аспект „оборонческий"—оказывается точно таким же отражением не исторической действительности, а текущих политических интересов, как и первый аспект—аспект „закрепощения". Никакой борьбы „леса" и „степи" в русской истории не было, потому что „степняки", Помпеи которых мы теперь раскапываем, представляли собою не кочевое хозяйство, а торговый капитал Центральной Азии, в области концентрации обмена ровесницы старой Римской империи и ее восточного отпрыска—Византии. Появившись на восточно-европейской равнине в лице хозар еще в IX веке, он прочной ногой стал здесь в XIII, оставив в наследство Москве две „Ордынки", Большую и Малую, где еще в 1917 году гнездилось бухарское и хивинское купечество. Теперь это маленький штришок на физиономии торговой Москвы, но штришок, красноречиво говорящий о далеком прошлом, когда, в ответ московским Ордынкам, в „Сараях" выросла русская торговая колония, настолько многочисленная, что ей понадобился особый митрополит.

Но об ордынском купеческом капитале и его влиянии на экономическое развитие Московской Руси лучше говорить в иной связи—и более подробно: он этого стоит. Ограничимся нашей темой. Итак, освобождение крестьян вызвало к жизни теорию „закрепощения" и „раскрепощения". Войны с турками во второй половине XIX века дали повод к возникновению теории „борьбы со степью". Теперь представьте себе человека, который был одновременно учеником авторов обеих теорий, учеником и Чичерина и Соловьева,—человека, у которого был сильный синтетический ум и яркий художественный талант, но который не любил критики. Ясно, что у него должно было явиться искушение скомбинировать обе теории—и что он умел бы показать свою комбинацию публике в ряде таких ярких образов, которые могли застрять в мозгах ряда поколений,

---

чество воды, которая через Раковый Ерик и Кальгуту доставлялась в город. Из Кальгуты вода через особые каналы поступала в обводный канал II района и в сеть каналов района VIII. Оставив район II, воды далее попадали в районы III, IV и I; особые системы шлюзов позволяли урегулировать водоснабжение, задерживали воду в районе II или отпускали воду районам III и IV, вместе с тем и первому. В случае недостатка воды из Кальгуты, для дополнительного водоснабжения могла служить система бассейнов района V. Излишек воды возможно было при помощи особых запасных каналов, орошавших район VII (бахч), направить непосредственно в Ахтубу. Совершенство всех гидротехнических сооружений нас буквально поражало; если все это построено при Узбеке или его преемнике Джанибеке, Золотая Орда в эту пору действительно могла гордиться своею столицею и ее инженерами".

превратиться в своего рода трафарет, прилагавшийся затем и политическими друзьями, и политическими врагами талантливого историка уже без всякой критики.

Этим историком был В. О. Ключевский. Принято говорить о „школе" Ключевского. Если какой-нибудь ученый органически не мог иметь школы, то это именно автор „Боярской Думы", единственный метод которого заключался в том, что в старое время называли „дивинацией". Благодаря своей художественной фантазии, Ключевский по нескольким строкам старой грамоты мог воскресить целую картину быта, по одному образчику восстановить целую систему отношений. Но научить, как это делается, он мог столь же мало, сколь мало Шаляпин может выучить петь так, как он сам поет. Для этого нужно иметь голос Шаляпина, а для того нужно было иметь художественное воображение Ключевского. Вот почему этот человек, зажегший интересом к русской истории тысячи молодых голов, сойдя в могилу, не оставил ни одного ученика в настоящем смысле этого слова, т.-е. продолжателя его научной работы. Учеников в школьном смысле, т.-е. людей, клянущихся словами учителя, у Ключевского, конечно, многое множество; но еще больше людей клялись и клянутся словами Достоевского—их едва ли можно назвать его продолжателями. Таких учеников, каким был сам Ключевский для Чичерина и Соловьева, у него самого ни одного не нашлось.

И по вполне понятной причине. Те двое были представителями крупных историко-политических концепций, отражавших большие течения современности и шедших в основе от еще более крупной и широкой базы, от философии Гегеля [1]. О Ключевском распространяется легенда, будто он был „создателем истинно-научной концепции русской истории", „первый в своем курсе дал схему всей русской истории от древнейших времен и до середины XIX века на социологической, научно-реалистической основе". Последнее неверно по тому уже одному, что Ключевский-ученый кончается первой половиной XVIII века: то, что он писал о дальнейшем, относится частью к области литературы, частью к области педагогики, но об'ективным историческим анализом там и не пахнет. И это чрезвычайно характерно для всего его научного облика: там, где его оставили его руководители—Соловьев дальше Екатерины не пошел в связном изложении, дав лишь довольно слабый фрагмент об Александре I, Чичерин, как исследователь, остановился

[1] Соловьев не был присяжным гегельянцем, как Чичерин, но стадию увлечения Гегелем прошел и он. См. его „Записки", стр. 60.

еще ранее—Ключевский был совершенно беспомощен. Он мог зарисовывать блестящие характеристики, мог наговорить тысячу острот, мог изложить тоном учебника более или менее общеизвестные факты,—дать схемы он не мог. Для этого нужно было иметь действительно свою концепцию русского исторического процесса, а у Ключевского именно этого и не было. Его понимание этого процесса—это был Чичерин, помноженный на Соловьева, или Соловьев, привитый к Чичерину,—как угодно. Словом, это была теория закрепощения, приспособленная к теории борьбы со степью.

Рельефнее всего эта гибридизация нашла себе выражение в „Истории сословий"—вообще едва ли не лучшем, по выдержанности, курсе Ключевского (он читал его в 1886 году).

„Своеобразный склад (русского) государственного порядка об'ясняется господствующим интересом, его создавшим. Этим интересом было ограждение внешней безопасности народа, во имя которой политически раздробленные прежде части его соединились под одною властью. Великороссия об'единилась под властью московского государя не вследствие завоевания, а под давлением внешних опасностей, грозивших существованию великорусского народа. Московские государи расширяли свою территорию и вооруженной борьбой; но то была борьба с местными правителями, а не с местными обществами. Поразив правителей княжеств или аристократию вольных городов, московские государи не встречали отпора со стороны местных обществ, которые большей частью добровольно и раньше своих правителей тянули к Москве. Итак, политическое об'единение Великороссии вызвано было необходимостью борьбы за национальное существование. Эта необходимость мешала установиться самому понятию о сословном праве. В первом периоде нашей истории (Киевском, М. П.), когда государственный порядок развился из завоевания, такое понятие установилось легко. Победители старались присвоить себе возможно больше прав, возложив на побежденных возможно больше обязанностей. В Московском государстве, все силы которого направлены были на внешнюю борьбу, усилия законодательства должны были сосредоточиться на том, какое участие принимать в этой борьбе разным классам общества, а не на том, какими правами будет пользоваться каждый класс. Предметом законодательной разработки и стала разверстка тяжестей национальной борьбы, которые налагала эта борьба, а не сословных прав, которые не вели к цели" [1].

[1] „История сословий" по изданию 1918 года, стр. 120–122.

Но „национальная оборона" предполагает нацию. Ключевский это понимал—комбинация схем Чичерина и Соловьева дополняется у него его собственными соображениями о национальной роли московского царства. В заключение своей характеристики „основного факта" русской истории XV века, он заводит речь „об идее национального (курс Ключевского) государства, о стремлении к политическому единству на народной основе. Эта идея возникает и усиленно разрабатывается, прежде всего, в московской правительственной среде по мере того, как Великороссия об'единялась под московской властью" [1]. Эту „идею народного государства" „рождала об'единившаяся Великороссия"; но Ключевский не ставит пределов „народному государству"; пределы эти „в каждый данный момент были случайностью, раздвигаясь с успехами московского оружия и с колонизационным движением великорусского народа" [2].

Оговорка очень благоразумная: ибо тексты, которые пытается приводить тут же Ключевский в подтверждение своей „национальной" гипотезы, к Великороссии-то уже ровно никакого отношения не имеют. Эти тексты, взятые из дипломатической переписки Ивана III, развивают ту обычную для своего времени мысль, что московский великий князь есть вотчич всей Русской земли: но образчики этой „вотчины", здесь упоминаемые—Киев, Смоленск и поводы для самой переписки—переход на московскую сторону черниговских князей—ясно показывают, что московская дипломатия отправлялась не от великорусского национализма. Что в Смоленске „Белая Русь", а в Киеве—„Малая", это в Москве очень хорошо знали и помнили: но в эти дни там еще лучше знали и помнили, что московский великий князь прямой потомок Владимира Всеволодовича Мономаха, когда-то державшего всю Русскую Землю. Что национальность тут была ровно не при чем, убедительнее всего свидетельствуется именно этой генеалогией, на которую так напирает, в те годы как раз распространявшееся; „Сказание о князьях Владимирских". В Мономахе больше всего ценили греческую кровь его деда, императора восточной Римской империи, ибо этой кровью надеялись стать вотчичами всемирного православного царства. Ничего более, чем это последнее, противоположного национальному государству нельзя себе и представить. А в дальнейшем развертывании византийское происхождение Владимира Мономаха приводило к знаменитой теории, делавшей предком Ивана III не более не менее, как

[1] „Курс", лекция XXV: по изд. 1918 г., т. II, стр. 141.
[2] Там же, стр. 142.

императора Августа [1]. Основываясь на этой теории, Иван Грозный уверенно заявлял, что он не русский, а немец: и, подражая своему царю, все знатные бояре его времени выводили свой род от какого-нибудь именитого иностранца, якобы во время оно приехавшаго служить знаменитейшей в мире династии. А Ключевский из этих людей хочет сделать великорусских патриотов.

И тут опять корни исторической гипотезы гораздо легче найти в современной историку среде, нежели в том прошлом, для об'яснения которого гипотеза выдвинута. В 1860-х годах даже Наполеон III распинался в своем уважении к „принципу национальности"—и налицо было два таких факта, как национальное об'единение Италии и Германии. Русские вариации на тему об единокровных братьях славянах были лишь запоздалым перепевом того же мотива. „Идея национальности" носилась в воздухе в те годы, когда Ключевский рос, как ученый. Труднее было отгородиться от нее, нежели ее усвоить.

Но если логическая подпорка схемы Чичерина-Соловьева сама так плохо держится, лучше ли отвечает фактам сама схема? Этим вопросом стоит заняться подробнее.

III.

Как видел читатель, нам с ним пришлось немало потратить времени, чтобы доказать истину, которая для каждого марксиста должна была быть аксиомой: чтобы доказать, что любая историческая теория есть такой же осколок идеологии определенного класса, как и любая теория экономическая или юридическая. Аншлаг „наука" красуется одинаково на всех этих теориях: и нет решительно никакого разумного основания отказывать в праве на „научность" теории Бем-Баверка, раз мы признаем такое право за теориями Чичерина или Ключевского. Нет никакого основания, если не считаться с тем фактом, что политическую экономию знает всякий марксист на зубок, а с русской историей, особенно древнейшего периода, многие из нас до сих пор знакомы весьма плохо.

Совершенно естественно, что предвзятая теория надевала своего рода шоры на историка. Буржуазная критика приучила нас к воплям, что „люди в шорах"—это марксисты. Весьма любопытно поэтому слегка заняться здоровьем самого врача и посмотреть, как надетые на его глаза классовые шоры

[1] См. об этом мою „Русскую историю" по 4-му изд., т. I, стр. 175.

мешали ему видеть факты, которые он отлично знал, которые он сам цитировал в своих произведениях.

Начнем с самого общего факта—борьбы со степью. Примем на минуту, что эта борьба, действительно, была пружиной, толкавшей вперед развитие московского государства, и посмотрим, что получается.

Максимум напора степи на русское славянство приходится, без всякого спора, на XI—XIV столетия. Датами тут могут служить 1068 год,—когда Киевская Русь впервые была разгромлена половцами, и наступление на степь, очень заметное при Владимире и Ярославе, сменилось надолго обороной от степи—с одной стороны, с другой—1382 год, взятие Москвы Тохтамышем, последний случай, когда новая столица северо-восточной Руси побывала в татарских руках: в 1571 году татарам удалось выжечь московский посад, но против кремлевской артиллерии степная конница оказалась бессильна. На этот промежуток, казалось бы, и должно падать, по крайней мере, начало московской централизации, по крайней мере, начало пресловутого „закрепощения".

Обратимся к Соловьеву. Констатировав, что „северо-восточная европейская украйна, принявшая с половины IX века название Руси, России, по природному положению своему должна была вести постоянную борьбу с азиатами", вот как характеризует он внутреннее состояние этой „украйны" за отмеченный нами период—самый критический период „борьбы со степью".

„В человеке признаки дряхлой старости бывают одинаковы с признаками слабого младенчества. Так бывает и в обществах человеческих; одряхлевшая Римская империя оканчивает бытие свое разделением; видимым разделением начинают бытие свое новые государства европейские, вследствие слабости несложившегося еще организма. Во внутренних борьбах гибнут государства устаревшие; сильную внутреннюю борьбу видим и в государствах новорожденных. И древняя русская история до половины XV века представляет беспрерывные усобицы: „Тогда земля сеялась и росла усобицами; в княжих крамолах век человеческий сокращался. Тогда по русской земле редко раздавались крики земледельцев; но часто каркали вороны, деля между собою трупы, часто говорили свою речь галки, собираясь лететь на добычу. Сказал брат брату: это мое, а это мое же; и за малое стали князья говорить большое, начали сами на себя ковать крамолу, а поганые со всех сторон приходили с победами на землю русскую. Встонал Киев тугою, а Чернигов напастями; тоска разлилась по русской земле".

„Русь превратилась в стан воинский; бурным страстям молодого народа открыто было широкое поприще; сильный безнаказанно угнетал слабого. Как же могло существовать общество при таких обстоятельствах? Чем спаслось оно?“ [1].

По мнению Соловьева, оно спаслось „нравственными“ силами, „ибо материальные были бесспорно на стороне Азии“. Не будем об этом спорить—для нас важно то, что сам автор теории, об'яснявший возникновение московской государственности потребностями национальной обороны от „степных хищников“, должен был признать, что на период, когда эта оборона была особенно нужна, когда стране грозила „конечная гибель“ от этих хищников, падает максимум децентрализации, максимум разложения, а не сложения сил. Действие борьбы со степью походит, таким образом, на действие некоторых заражений—малярией, например, когда болезнь начинает проявляться лишь долго спустя после момента заражения.

Когда-то боролись со степью, это привило микроб „закрепощения“—и, лет этак через полтораста, микроб начал действовать...

Лет через полтораста, ибо „закрепощение“, т.-е. обязательная военная служба помещиков, падает на середину XVI столетия (между 1550 и 1556 г.г. См. „Курс“ Ключевского, ч. II, стр. 273—274). Но защитники теории скажут нам: позвольте, однако, ведь на XVI век приходится все-таки целых два крупных набега татар (крымских) на Москву, 1521 и 1571 г.г. Последний составил эпоху: от 1571 года, от „татарского разоренья“, вели летосчисление, как впоследствии от 1812 года. Разве этого было недостаточно?

Как раз сравнение с 1812 годом и показывает, что весьма, конечно, недостаточно: до сих пор никто еще не выставил теории, об'ясняющей милитаризм Николая I уроками 1812 года. Но примем, что татарские набеги XVI столетия, действительно, могли сыграть роль в „закрепощении“; из затруднения мы все-таки не выйдем.

Первый большой набег татар имел место в 1521 году. Имело ли после него место закрепощение? От 1539 года до нас дошла писцовая книга Тверского уезда, перечисляющая тогдашних тверских землевладельцев. Их всего 572; из них великому князю служило только 230 человек; 126 были на службе у крупных землевладельцев (больше всего у твер-

[1] Собрание сочинений, изд. Обществ. Пользы, стр. 794. Из статьи „Древняя Россия“.

ского архиерея и у князя Микулинского), а 150 человек не служили никому. Общеобязательной военной службы всех землевладельцев великому князю еще не было.

После 1556 года эта служба была несомненным фактом; но „степная бацилла" и тут дожидалась 35 лет, чтобы начать действовать. И так как набег 1571 года все же хронологически ближе (всего пятнадцать лет против тридцати пяти), то остается предположить, не обладала ли бацилла обратным действием, вызывая болезнь до заражения? Степные хищники так коварны...

Конечно, если вспомнить, что на этот период, 1550—60-е г.г. падает расцвет московского империализма XVI века: в эти годы был захвачен южный конец великого речного пути из Европы в Азию, от Казани до Астрахани, и началась попытка захватить северный конец, выход на Балтийское море, началась Ливонская война—если это вспомнить, пожалуй, не нужно будет никаких предположений более или менее сверхестественного характера. Но нужна ли тогда будет и гипотеза „борьбы со степью"?

Так дело обстоит с „закрепощением" благородного российского дворянства. Лучше ли обстоит оно с настоящим, уже безо всяких ковычек, закрепощением сидевших на земле этого дворянства крестьян?

Для того, чтобы связать его с оборонческой теорией, нужно, конечно, чтобы закрепощение было актом той государственной власти, которая руководила этой самой обороной. Естественно, что создавшие нашу теорию историки немало потратили труда и времени на то, чтобы отыскать этот акт. Чем кончились их поиски, лучше всего рассказать словами В. О. Ключевского.

„Первым актом, в котором видят указания на прикрепление крестьян к земле, как на общую меру, считают указ 24 ноября 1597 г. Но этот указ содержанием своим не оправдывает сказания об общем прикреплении крестьян в конце XVI в. Из этого акта узнаем только, что если крестьянин убежал от землевладельца не раньше 5 лет до 1 сентября (тогдашнего нового года) 1597 года и землевладелец учинит иск о нем, то по суду и по сыску такого крестьянина должно возвратить назад, к прежнему землевладельцу, „где кто жил", с семьей и имуществом: „с женой и детьми и со всеми животы".

Если же крестьянин убежал раньше пяти лет, а землевладелец тогда же, до 1 сентября 1592 г. не вчинил о нем иска, такого крестьянина не возвращать, и исков и челобитий об его сыске не принимать. Больше ничего не говорится в царском

указе и боярском приговоре 24 ноября. Указ, очевидно, говорит только о беглых крестьянах, которые покидали своих землевладельцев „не в срок и без отказу", т.-е. не в Юрьев день и без законной явки со стороны крестьянина об уходе, соединенной с обоюдным расчетом крестьянина и землевладельца. Этим указом устанавливалась для иска и возврата беглых временная давность, так сказать, обратная, простиравшаяся только назад, но не ставившая постоянного срока на будущее время. Такая мера, как выяснил смысл указа Сперанский, принята была с целью прекратить затруднения и беспорядки, возникавшие в судопроизводстве вследствие множества и запоздалости исков о беглых крестьянах. Указ не вносил ничего нового в право, а только регулировал судопроизводство о беглых крестьянах. И раньше, даже в XV в., удельные княжеские правительства принимали меры против крестьян, которые покидали землевладельцев без расплаты с ними. Однако из указа 24 ноября вывели заключение, что за пять лет до его издания, в 1592 году, должно было последовать общее законоположение, лишавшее крестьян права выхода и прикреплявшее их к земле. Уже Погодин, а вслед за ним Беляев, основательно возражали, что указ 24 ноября не дает права предполагать такое общее распоряжение за пять лет до 1597 года; только Погодин не совсем точно видел в этом указе 24 ноября установление пятилетней давности для исков о беглых крестьянах и на будущее время. Впрочем, и Беляев думал, что если не в 1592 г., то не раньше 1592 года должно было состояться общее распоряжение, отменявшее крестьянский выход, потому что от 1590 г. сохранился акт, в котором за крестьянами еще признавалось право выхода, и можно надеяться, что со временем такой указ будет найден в архивах. Можно с уверенностью сказать, что никогда не найдется ни того, ни другого указа, ни 1590, ни 1592 года, потому что ни тот ни другой указ не были изданы" [1].

„Итак, — заканчивает Ключевский, — законодательство до конца изучаемого периода (т.-е. до конца „Смуты". М. П.) не устанавливало крепостного права. Крестьян казенных и дворцовых оно прикрепляло к земле или к сельским обществам по полицейско-фискальным соображениям, обеспечивая податную их исправность и тем облегчая действие круговой поруки. Крестьян владельческих оно ни прикрепляло к земле, ни лишало права выхода, т.-е. не прикрепляло прямо и безусловно к самим владельцам" [2]. Мы не выписываем промежуточных страниц,

[1] „Курс" II, стр. 385—6.
[2] „ Курс" II, там же.

где Ключевский очень тонко и обстоятельно развивает свою известную теорию об обязательствах крестьянина к помещику, как возникших на почве исключительно гражданских правоотношений, безо всякого вмешательства государства. Что теория эта бьет в лицо развиваемую тем же Ключевским в других лекциях теорию закрепощения, едва ли нужно на этот счет распространяться; историк, т.-е. бессознательный марксист, взял здесь у Ключевского верх над буржуазным публицистом. И, как всегда бывает с новой и свежей мыслью, ею стараются об'яснить слишком много. Нет сомнения, что прямое вмешательство государства даже и в XVI веке было значительнее, чем изображает Ключевский. Классовое, землевладельческое правительство (с 1565 г. отражавшее интересы не только крупно - феодальной верхушки, а всей помещичьей массы) не могло же в борьбе крестьянина и помещика соблюдать нейтралитет. Для XVII века этого прямого вмешательства не отрицает и сам Ключевский. Но характерно тут то, что, чем дальше от „борьбы со степью", тем это вмешательство смелее и бесцеремоннее. Первые указы, не мифические, а вполне реальные—о крестьянской крепости, появляются на фоне помещичьей реакции после „Смуты", начиная с чрезвычайно характерного указа Шуйского (7 марта 1607 г.), закрепившего результаты разгрома болотниковского восстания: поражение крестьянской рати под Котлами и обратное взятие царскими войсками Коломенского имели место за три месяца до указа; в момент его издания правительство боярско-купеческой реакции всюду уже перешло в наступление, между прочим, и на фронте крестьянской политики. „Борьба со степью" была бы, в приложении к этому моменту, чистой иронией—поскольку пришедшие с границ степи казаки представляли собою наиболее боеспособную часть болотниковского ополчения.

А когда степь совсем скрылась за горизонтом русской внешней политики, прочно заменившись финскими болотами, указ Петра 1723 г. совершенно незаметно, мимоходом смешал крестьян в одну кучу с холопами. И, как нарочно, максимума своего географического распространения крепостное право достигло именно в год завоевания русскими Крыма—как бы для того, чтобы окончательно обелить „борьбу со степью" от обвинения в содействии гибели крестьянской свободы. В 1783 г., когда Екатерина распространила крепостное право на Украину, вести борьбу было не с кем—в последнем гнезде „степных хищников" господствовали русские штыки. Но связь между их появлением в Крыму и распространением крестьянской крепости на всю площадь русского чернозема, конечно,

была; Черное море теперь открылось для русской пшеницы, и черноземному помещику, как никогда, нужны были рабочие руки.

Таким образом, теорию „закрепощения“ с удобством можно разрушать руками ее создателей. Но эти последние дают больше: при их помощи легко устранить и ту, quasi марксистскую, подпорку, которою пытались подпереть их утлое здание, когда оно явно стало шататься.

Этой подпоркой была „примитивная экономическая основа“, на которой, будто бы, возникло русское самодержавие XVI века. Раз внутреннее экономическое развитие не оправдывало, не об'ясняло той роскошной надстройки, которая воздвигалась над Московской Русью того времени, оставалось опять прибегнуть к внешней политике, как к ключу, отпиравшему все замки. Если бы нам удалось поколебать эту уверенность в „примитивности“ московской экономики времен Грозного, исчезла бы надобность ставить самый вопрос. Возникновение московского самодержавия было бы лишено ореола таинственности и чудесности и стало бы столь же тривиальным фактом, как возникновение любого европейского абсолютизма—всюду, в качестве составной части примитивного капиталистического аппарата, истощавшего производительные силы страны, но нигде не вынужденного „обгонять развитие“ туземных „экономических отношений“.

Фактически, пишущему настоящие строки приходилось заниматься этим вопросом много раз в своих исторических работах. В последний раз я привел кое-какие факты в своих заметках по поводу „1905“ тов. Троцкого [1]. Но факты, приведенные мною, могут быть заподозрены—со стороны их „об'ективности“. Положим, что вероятность такого заподозривания не очень велика—ибо, какие способности у меня ни предполагай, едва ли кому придет в голову утверждать, что я в состоянии выдумать три столетия русской истории, да еще с цитатами, ссылками на документы и т. д. Но все же приятно констатировать, что предрассудок о „примитивной экономической основе“ разрушен еще 50 лет тому назад одним из создателей той теории, которую хотят этой „основой“ спасти от окончательного провала.

В 1866 году В. О. Ключевский, тогда еще не знаменитый историк, а скромный—хотя и подававший уже большие надежды—студент Московского Университета, выпустил книжку под заглавием „Сказания Иностранцев о Московском Государстве“.

[1] См. выше стр. 20 и след.

Пишущего эту статью тогда еще и на свете не было, так что в деяниях Ключевского он невинен более, нежели новорожденный младенец. Книжку эту, чисто описательную, не стремящуюся ни к каким обобщениям и тем не менее весьма полезную, переиздал еще предшественник Госиздата, „Литературно-Издательский Отдел Наркомпроса". На это издание 1918 года я и буду дальше делать ссылки.

Я возьму у Ключевского показания не моложе шестнадцатого века и постараюсь говорить его подлинными словами.

Характерной особенностью „примитивного" экономического быта является прежде всего чисто деревенский вид страны: где есть крупные городские центры, там не может быть речи о „примитивности". Как с этой стороны обстояло дело в Московском государстве начала XVI века?

„Иовий говорит, что по выгодному положению своему в самой населенной стране, в средине государства, по своему многолюдству и удобству водяных сообщений Москва есть лучший город в государстве, преимущественно перед другими заслуживает быть его столицей и, по мнению многих, никогда не потеряет своего первенства. Так думали в XVI веке московские люди и думали справедливо" („Сказания", стр. 214).

Ключевский очень правильно отмечает, что „так думали в XVI веке московские люди": Павел Иовий [1] писал со слов московского дьяка Герасимова, который был послом Василия III к папе Клименту VII, в 1525 году. В науке об'яснение возвышения Москвы ее значением, как дорожного узла, было высказано впервые Соловьевым и повторено Ключевским. Мы видим, что оба историка XIX века только повторили в данном случае то, что отлично сознавалось и высказывалось русскими современниками. Для „примитивных" экономически людей это была, нужно сказать, большая дальнозоркость.

Размеры этого крупнейшего торгового центра Московской Руси вполне соответствовали обычным размерам крупных городов позднего средневековья. Дадим опять слово Ключевскому: „Поссевин приблизительно определяет пространство, которое занимала Москва до сожжения ее татарами (в 1571-м году) в 8.000 или 9.000 шагов. По Флетчеру она имела тогда до 30 миль в окружности. Этим об'ясняется, почему Меховский (писавший в 1517-м году. М. П.) говорит, что Москва вдвое больше Флоренции и Праги, а англичанам, приезжавшим

[1] Пользуюсь случаем исправить грубую обмолвку „Русской истории с древнейших времен": Иовий назван там у меня (том I, стр. 195) „итальянским путешественником". Он никогда не был в России.

в Россию в 1553-м году, она показалась с Лондон. Флетчер считает Москву со слободой Наливками (теперешнее Замоскворечье. М. П.) даже больше Лондона" („Сказания", стр. 215).

Замоскворечье носило тогда такое название потому, что в нем существовала тогда свободная продажа спиртных напитков: то была привилегия иностранцев, которые селились, преимущественно, в этой части города. Это характерно в том отношении, что показывает, куда выходили главные торговые пути тогдашней Московии. Они смотрели на юг и юго-восток: когда, во второй половине века, англичане пробили дорогу на Архангельск, иностранный квартал передвинулся на северо-восток (Немецкая Слобода, теперешнее Лефортово). Что касается размеров Москвы, то ближе всего к реальности, вероятно, показание Поссевина. Он считал, конечно, римскими шагами, двойными. Это дает окружность Москвы в те времена от 10 до 12 верст —приблизительная длина теперешней линии бульваров, которые и выросли, как известно, на месте старинных укреплений (отсюда до сих пор сохранившиеся урочища, Мясницкие ворота, Пречистенские ворота и т. п.). Флетчер явно преувеличивает, если даже считать, что он брал не „город" в тогдашнем смысле этого слова, т.-е. укрепленную часть, а все поселение, с пригородными слободами и селами. Наиболее реальным представляется показание того же Поссевина и относительно числа жителей: 30.000 человек. Так как это было вскоре после „татарского разорения", то цифра населения Москвы в предшествующее, более нормальное, время должна была подходить к пятидесяти тысячам. Если вспомнить, что в Германии XV века не было ни одного города, который имел бы более 40.000 жителей, что Лондон того же столетия считал их только 50.000, мы получим приблизительное представление об уровне развития городского центра в Московской Руси около времени Грозного. Это был тот уровень, на котором стояла Западная Европа лет за 100—200 ранее. Т.-е. как раз в ту эпоху, когда в Западной Европе начали складываться абсолютные монархии, того же примерно типа, как и царство Ивана Грозного.

Москва была самым крупным, но не единственным крупным городским центром тогдашней России: тот же Поссевин считал в Новгороде (сильно тогда уже упавшем) 20.000 жителей, и столько же, или немного больше,—во Пскове. И тот и другой были бы крупными городами по германскому масштабу предшествующего столетия.

Как существовали эти городские центры? Конечно, предположить их на экономическом фоне „натурального" хозяйства

нет никакой возможности. Совершенно естественно, что практичные иностранцы даже конца XV столетия без особого удивления находили в Москве обстановку средневекового товарного хозяйства. Но дадим опять слово Ключевскому.

„Москва имела значение преимущественно как центр внутреннего торгового движения. В продолжение всей зимы привозили сюда из окрестных мест дрова, сено, хлеб и другие предметы; в конце ноября окрестные жители убивали своих коров и свиней и во множестве свозили их замороженными в столицу. Рыбу также привозили замороженной и твердой, как камень, что очень дивило иностранцев. Цены этих товаров, свозившихся в Москву, казались иностранцам необыкновенно дешевыми. Барбаро говорит, что говядину продавали не на вес, а по глазомеру; за один марк (marchetto) можно было купить 4 фунта мяса. 70 кур стоили червонец: по словам Иовия, курицу или утку можно было купить за самую мелкую серебряную монету. Во время пребывания Контарини в Москве 10 венецианских стар (30 четвериков) пшеницы стоили червонец; так же дешево продавался и прочий хлеб; три фунта мяса стоили один сольд, 100 кур или 40 уток — один червонец, а самый лучший гусь не более 3 сольдов. Контарини видел на московских рынках много зайцев, но другой дичи почти совсем не было видно. Герберштейн говорит, что мера хлеба продавалась в Москве по 4 и по 6 денег. Можно верить такому обилию припасов на московских рынках и их дешевизне, зная, что Москва была главным средоточием внутреннего торгового движения страны“ [1].

Чтобы осмыслить эти показания, нужно дать несколько хронологических справок. Читатель заметил, что при Барбаро в Москве не умели еще вешать мясо. Но знаете ли вы, когда Барбаро был в Москве? В 1436-м году, в первой половине пятнадцатого века. Уже тогда в Москве был мясной рынок, достаточно, конечно, примитивный. Ко времени Контарини, т.-е. к 1473-му году, ко второй половине того же столетия, продажа с'естных припасов сделалась обиходным явлением в Москве, при чем особенно характерно, что московский рынок снабжался и дичью. Даже и лесные промыслы, как охота, были уже втянуты в кругооборот товарного хозяйства.

Эти показания иностранцев дают великолепный комментарий к многочисленным „уставным грамотам“. Повод для появления их был всегда один и тот же: необходимость перевести натуральные повинности населения в денежные. Каждая грамота,

[1] «Сказания», стр. 252—253.

подробно перечислив, что должно было платить население в натуре, стереотипно добавляла: „а не люб наместнику корм", то за барана—столько то, за хлеб столько то, за курицу столько то и т. д. Барбаро, Контарини и Герберштейн об'ясняют нам, почему тогдашнему губернатору, „наместнику", могло не понравиться натуральное вознаграждение: с деньгами в кармане тогдашний человек чувствовал себя гораздо свободнее, нежели в условиях натурального хозяйства, которое ветшало день ото дня.

Совершенно естественно, что через сто лет после Контарини, во второй половине XVI века, внутренние торговые сношения Московии рисуются нам как совершенно развившиеся. „Агенты английской компании писали, что из областей по верхней Волге каждое лето ходило к Астрахани до 500 больших и малых судов за солью и рыбой. Некоторые из этих судов были в пятьсот тонн. По значению в торговле первое место после Волги занимала Северная Двина, поддерживавшая торговые связи отдаленного северного края с внутренними областями государства. В системе Северной Двины также были пункты, важные во внутренней торговле России. Такова была Вологда, о которой один агент английской компании писал, что нет города в России, который не торговал бы с нею. Преобладающими предметами на вологодском рынке были лен, пенька и сало. На значение Вологды, как средоточия торгового движения по Северной Двине, указывает и другое английское известие, что вологодским купцам принадлежала большая часть насадов и дощаников, плававших по Северной Двине, на которых перевозилась соль от морского берега в Вологду". („Сказания", стр. 255).

К этим показаниям остается только напомнить, что крупнейший корабль английского флота этого времени имел всего 1500 тонн водоизмещения, чтобы у нас не осталось поводов думать, будто московская речная торговая была так уж „примитивнее" европейской торговли вообще в эту эпоху. Это внутренняя торговля. Но для образования московского государства еще больше значения имела, разумеется, торговля внешняя.

„Стараясь завязать политические сношения с западно-европейскими государствами, — говорит Ключевский, — московское правительство вместе с тем старалось завести с ними и деятельные торговые сношения. В половине XVI века открылась торговля с англичанами; шведским купцам, которые во время Герберштейна могли торговать только в Новгороде, дано было право ездить не только в Москву, Казань и Астрахань, но через Россию в Индию и Китай, с условием, чтобы и русским

купцам позволено было из Швеции отправляться в Любек, Антверпен и Испанию. Иоанн IV долго и упорно добивался гавани на Балтийском море и потратил огромные средства для достижения этой цели. Но если в Москве сознавали важность торговых связей с Западом и для упрочения их добивались приморской гавани, то также ясно понимали выгоды от этого для Москвы и ее соседи, стараясь всеми мерами помешать ей в достижении ее цели". („Сказания", стр. 267—8).

Таким образом, то об'яснение внешней политики Ивана Грозного, которое давали марксистские историки, давным давно можно было найти в старой-престарой книжке, написанной еще в 1860-х годах скромным студентом Московского университета. Характерно, однако, что мыслям этого студента пришлось дожидаться появления на Руси марксизма, для того, чтобы оплодотворить „ниву Российской истории".

Но будем читать Ключевского дальше. „В одно время с расширением западной торговли московского государства усиливалась его торговля на Востоке; главным пунктом этой торговли была Астрахань". Здесь мы пропускаем слишком длинный проэкт одного итальянца — при помощи московских речных путей через Астрахань создать конкуренцию для только что открытого португальцами морского пути в Индию. Любопытно только, что Московское правительство заинтересовалось этим проэктом в такой степени, что именно он послужил поводом к отправлению в Рим того посольства дьяка Герасимова, о котором говорилось выше и которое снабдило сведениями о Московии Павла Иовия... „Во второй половине XV века из Москвы ежегодно ходили по Волге в Астрахань суда за солью. По словам Контарини, хан астраханский ежегодно отправлял к великому князю московскому посла за подарками; с этим послом обыкновенно отправлялся целый караван татарских купцов с джеддскими тканями, шелком и другими товарами, которые они меняли на меха, седла, мечи и другие им нужные вещи. Вообще Астрахань и в XV веке была для Москвы важным посредствующим рынком в торговле ее с востоком. Из Дербента ездили в Астрахань купцы с сорочинским пшеном, шелковыми тканями и другими товарами востока, и меняли их там русским купцам на меха и другие предметы, требовавшиеся в Дербенте. В княжение Василия относительно восточной торговли принята была московским правительством мера, имевшая важное значение как для московских, так и для восточных купцов: желая подорвать торговлю враждебной Казани, великий князь велел быть ярмарке в Нижнем и под страхом тяжелого наказания запретил московским купцам ездить на казанскую

ярмарку, которая собиралась на Купеческом острове, недалеко от города. Казанцы, конечно, много потеряли от этой меры, но не менее их потеряла в первое время и Москва, потому что во всех товарах, доставлявшихся Каспийским морем и Волгой из Персии и Армении, оказался на московских рынках большой недостаток, и они очень вздорожали; особенно поднялась в цене волжская рыба". („Сказания", стр. 270—271).

Взятие Казани в 1552 году—какой это благодарный мотив в эпопее „борьбы со степью"! А вот оказывается, что этому поэтическому событию предшествовала как нельзя быть более прозаическая таможенная война между „оседлыми земледельцами" и „степными хищниками". Внешняя торговля стала пружиной внешней московской политики задолго до похода Грозного в Ливонию. Московский торговый капитализм приходится опустить на несколько десятилетий глубже, — к чему, впрочем, рассказы Контарини и Герберштейна, цитированные и здесь, и в статье „Красной Нови", давно подготовили читателя.

Легенда о „примитивной экономической основе", на которой воздвигалась московская государственность задолго до Романовых, должна быть сдана в архив вместе с легендами о „борьбе со степью" и „закрепощении и раскрепощении"—все три легенды составляют одно неразрывное целое. Московская Русь XVI века была не примитивнее, по своим экономическим условиям, нежели любая европейская страна позднего средневековья. Но она вступила на стезю капитализма (в те времена только торгового) последней из европейских стран. Ей приходилось догонять других, отбивать место на солнце у более счастливых соперников. Это, естественно, вызывало исключительно сильное напряжение всех экономических возможностей, исключительно яростную, если можно так выразиться, эксплоатацию сил и средств населения. Но это делалось не во имя мифической „национальной самообороны", которой тогдашний капитализм не успел выдумать еще и в теории, а во имя интересов этого самого капитализма. Политический момент и в России, как во всех других странах, никогда не был самодовлеющим: московский абсолютизм не „обгонял" развитие экономических отношений, а был точным их отражением.

„Вестник Социалистической Академии",
книги I, II и IV.

К вопросу об особенностях исторического развития России.

I.

О пользе не быть профессором, с некоторыми историческими замечаниями о природе русского самодержавия.

Основное качество профессора, как и римского папы,—непогрешимость. Если рука профессора опишется и вместо „Иван" начертит „диван"—крышка: на долгие месяцы пойдет полемика, доказывающая, что это именно „диван", а не „Иван", вещь, а не лицо. Милюков в своей диссертации о государственном хозяйстве петровской России (превосходной для своего времени книге, между прочим) „увлекся" и использовал цифры одной петровской переписи, опороченные тогда же, в начале XVIII в. Красочные очень были цифры и вели как раз туда, куда нужно было Милюкову. „Ученые друзья" не преминули „осветить этот инцидент в печати". Вы думаете, Милюков признался в своем увлечении? Ничуть не бывало. Стали появляться статья за статьей, и в „Вестнике Европы", и в „Русской Мысли", доказывавшие, что с цифрами все обстоит совершенно благополучно, и что если им не верил Петр (умный был человек, даром, что Романов), то русские студенты конца XIX в. обязаны им верить безотговорочно. Напечатаны в профессорской книжке — а профессор непогрешим.

Красному профессору[1], тов. Слепкову, в его рецензии на мои „Очерки по истории революционного движения" („Большевик" 1924, № 14), понесчастливилось открыть Америку, которая на проверку оказалась не марксистской, а троцкистской. Ему сие было раз'яснено („Под Знаменем Марксизма" 1924,

[1] „Профессору" только по названию—не знаю, удовлетворит эта поправка тов. Слепкова или огорчит. Меня бы она удовлетворила. Но сколь и звание вредоносно—для марксиста!

№ 12, статья пишущего эти строки см. ниже стр. 132). Так как самый вопрос (о социальной природе самодержавия) чрезвычайно элементарен, и политическая география этих мест хорошо всем известна, то по существу дела спорить тут, действительно, трудно. Представление, будто в России самодержавие было в начале XX века первым предпринимателем и возглавляло промышленный капитализм, это представление нужно было тов. Троцкому, чтобы обосновать *его* теорию *перманентной революции*, и совершенно ни зачем не нужно нам с тов. Слепковым. Наоборот, если бы *факт* был верен (ниже мы увидим, что и фактически картина не соответствует действительности), он был бы палкой в колесе большевистской концепции русского исторического процесса. Та роль, какую эта концепция отводит в процессе революционной борьбы деревне и крестьянину, совершенно не оправдывалась бы ничем, если бы самодержавие опиралось на промышленный капитал и его возглавляло. Тогда самодержавие мог бы повалить только городской рабочий, и его одного было бы совершенно достаточно.

Все это столь просто и ясно, что, повторяю, спорить не о чем. Что положение т. Слепкова, когда ему раз'яснили, что именно он написал, было трудное—я не думаю отрицать. Лучше было бы, если бы рецензию посмотрел какой-нибудь компетентный товарищ до появления ее в печати. Но что-ж поделаешь — слово не воробей, вылетит—не поймаешь. По совести говоря, я не могу придумать никакого способа самозащиты для т. Слепкова, кроме одного: попытаться заново переаргументировать, с фактами в руках, теорию тов. Троцкого — выяснить, что в ней верно, что нет; ибо несомненно, что-то представляется в ней тов. Слепкову верным—„на-ряду со многим неверным теоретически и политически тов. Троцкий высказывал и многое верное", говорит он в своей последней статье [1].

Когда т. Слепков это сделает,—посмотрим и поговорим. Пока же, перед нами типичное профессорское барахтанье на тему: „диван, а не Иван". „Не угодно-ли", говоря словами т. Слепкова (и это Троцкий раньше вас сказал, т. Слепков!), полюбоваться на такой пассаж. Спор у нас с ним идет, как помнит читатель, о том, произошло ли к началу XX в. „социальное перерождение помещичьего государства", или это помещичье государство по-прежнему было политической организацией старых, до-промышленных форм капитализма. И вот т. Слепков с торжеством приводит такую цитату из одной моей статьи.

[1] *А. Слепков.* Не согласны!—„Большевик" 1925 г. № 5—6 (21 - 22).

„Трудно найти лучший образчик исторической диалектики: *помещичье имение вызывает к жизни железную дорогу, чтобы добраться до наиболее выгодного широкого европейского рынка; железная дорога родит металлургию,* металлургия создает наиболее революционный отряд пролетариата, хоронящий прадеда всей системы — помещичье имение" („Правда" от 12/III—1924 г. Статья М. Покровского, 12 марта 1917 г.).

Что же из этого следует? Что я признаю диалектичность исторического процесса? Да когда же я ее отрицал? И какое отношение цитата имеет к *нашему* спору? Ведь, речь идет о социальном перерождении *помещичьего государства.* Что же, разве это *помещичье государство,* во главе пролетариата, похоронило помещичье имение? Разве это Николай, во главе рабочих-металлистов, совершил Октябрьскую революцию? И где тут тень моего „согласия с т. Троцким", о котором (согласии) говорится на следующей странице статьи тов. Слепкова? Разве это Троцкий выдумал, что пролетариат был гегемоном русской революции? Это было одним из основных положений большевистской концепции еще в те годы, когда т. Троцкий ничего общего с большевиками не имел.

Но это еще цветочки—ягодки впереди. Дальше идет цитата уже из тов. Ленина, по поводу временного правительства марта 1917 г.

„Это правительство не случайное сборище лиц. Это представители нового класса, поднявшегося к политической власти в России, класса *капиталистических помещиков и буржуазии,* который давно правит нашей страной экономически и который, как за время революции 1905—1907 г.г., так, наконец, и притом с особенной быстротой, за время войны 1914—1917 г.г. чрезвычайно *быстро организовался политически, забирая в свои руки и местное самоуправление, и народное образование, с'езды разных видов, и думу, и военно-промышленный комитет и т. д.* Этот новый класс *почти совсем был уже у власти* к 1917 г." (*Ленин,* Собр. соч., т. XIV, часть I: „Первый этап первой революции", стр. 9—10).

Тут уже совсем ничего не поймешь (не в словах Ленина—они великолепны и исторически вполне правильны, а ничего не поймешь у т. Слепкова). Что же, эти „капиталистические помещики и буржуазия" были опорой самодержавия, что ли? Ведь, перед февралем эти „капиталистические помещики и буржуазия" устраивали *заговор против самодержавия,* с целью заменить самодержавие *парламентской монархией,* т.-е. типичной политической организацией *промышленного ка-*

питала. Зачем же это понадобилось промышленному капиталу сбрасывать Николая, коли он и без того представлял именно этот самый промышленный капитал? Вед эта предварительная организация „капиталистических помещиков и буржуазии" проходила, как организация *оппозиции против самодержавия.* Что же, значит, тут „своя своих не познаша", что ли?

Как видите, читатель, об'яснение от профессорского барахтания — самое выгодное для тов. Слепкова. Ибо иначе пришлось бы предположить, что обе цитаты рассчитаны на „дурачков", как любил выражаться покойник Ильич, — рассчитаны на то, чтобы напугать читателя *словами*, в надежде, что до смысла этих слов он не доберется. Второе предположение было бы слишком уже нелестно для тов. Слепкова (нелестно для его ума, прежде всего: ведь, он же не в пустыне ораторствует, у него собеседники есть, и те могут об'яснить даже и „дурачкам", в чем дело, ибо дело до крайности просто).

Лучше, приятнее для автора этих строк и менее обидно для тов. Слепкова предположить, что тут просто спасается профессорское самолюбие. „Диван, а не Иван!". Но в конце концов все таки Иван — и перед тов. Слепковым в этом вопросе одна альтернатива: или признаться, что нечаянно у него написалось не то, что думалось, или стать новым апологетом исторических теорий тов. Троцкого.

Я не буду останавливаться на ответе тов. Слепкова тов. Рубинштейну, — но не могу пройти молча мимо одной особенности этого ответа; его *тона.* Какое величественнное презрение „профессора" к „студенту"! (т. Рубинштейн еще не окончил курса Института Красной Профессуры). По существу т. Рубинштейн сумеет за себя сам ответить. Обращаю его внимание на то, что в вопросе о *купце* и *помещике* коечему т. Слепков от нас с ним научился. Он уже говорит о „торговом дворянстве". Как же это так, тов. Слепков: ведь „купец и помещик играют различную роль в процессе производства" и их „никак нельзя об'единить в одну категорию" („Большевик", № 14, стр. 114-115)? Правда, и в этой, цитированной сейчас, статье тов. Слепков признает, что „помещик был, кроме того, и торговцем". Но тогда почему же весь шум против тов. Рубинштейна?

* * *

Но оставим профессорские самолюбия и профессорские привычки, — которых, очевидно, одним прилагательным „красный" не истребить—существительное всегда возьмет верх. Инцидент с тов. Слепковым, должен сказать, не первый—и не

самый плохой—образчик того, как эти привычки быстро и легко укореняются. Все это, однако, интересно лишь как образчик прочности переживаний; а из этих переживаний самое прочное — и гораздо более интересное для нас — то, которое отказывается признавать тов. Слепков, закоченевшее почти без перемен до XX столетия, а сложившееся в XVI-XVII в. в. *русское самодержавие.*

Никакие, самые совершенные, методы консервирования не могли бы дать лучшего эффекта. В первой четверти XVI века опальный боярин Берсень-Беклемишев, жалуясь Максиму Греку на „новые порядки", т.-е. на зарождавшийся абсолютизм, так их определял: „ныне государь наш, *запершись сам третей у постели,* всякие дела делает".

Перечитайте теперь переписку 1915-1917 г. г. Александры Федоровны с Николаем: разве не буквально так же, „запершись сам третей", Николай, Александра и Распутин, „все дела делали"? Четырех веков как будто и не бывало! И как Василий Иванович (отец Грозного, к которому относилась характеристика Берсеня) прогонял сказавшего ему неугодное в думе боярина словами: „ступай, смерд, вон, ты мне не надобен!", так Николай II встречал фразой о „бессмысленных мечтаниях" людей, которых он только подозревал, что они хотят сказать что-то, ему не угодное.

Быть может, это сохранение *методов*, не только методов выражаться, но и методов действия, самое характерное изо всего. Почитайте у Штадена описание методов действия опричнины Ивана Грозного: это—*погром* [1]. Кому бы пришло в голову, что в начале XX века это будет все еще любимый метод действия абсолютизма в борьбе с противниками? И при этом так же пытали, так же вешали, Правда, не сажали на кол и не жарили на сковороде. Но к этому только и сводилась вся „динамика социального содержания" русского абсолютизма. В остальном на протяжении 4 веков он оставался верен себе.

Эту *закоченелость политической формы*, конечно, нельзя принять, как нечто само собою разумеющееся. Как ни много нехорошего можно сказать об Англии лорда Керзона, но сказать, что Керзон, хотя бы и с некоторым смягчением, воспроизводил методы управления Генриха VIII [2], никак нельзя. В Англии за четыреста лет произошло, действительно, ради-

---

[1] См. *Генрих Штаден.* О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника. М., изд. Сабашниковых, 1925. Особ. стр. 143 сл.

[2] Английский Иван Грозный, XVI столетия.

кальное „перерождение“ политической верхушки [1]. А вот у нас, в России, нет.

Шаблонное, банальное, обывательское об'яснение этого мы знаем: Россия — отсталая страна, она развивалась крайне медленно, и т. д. и т. д. Теперь, после ряда марксистских работ, исторических или ставших историческими (написанные в конце XIX столетия „Наши разногласия“ или „Развитие капитализма в России“ теперь такие же исторические книжки, как „Положение рабочего класса в Англии“ Энгельса), мы знаем, что между Россией и Западом в этом резкого расхождения нет. Экономически в новое время Россия развивалась даже быстрее Западной Европы. Крепостное право в Англии ликвидировано в незапамятные времена, во Франции последние его остатки смела революция конца XVIII в., а в России его остатки — и очень почтенные — дожили до XX столетия: и, тем не менее, Россия перед революцией была страной промышленного капитализма, начинавшего переходить в финансовый. По концентрации производства Россия начала XX в. стояла выше Германии (у нас в предприятиях более, чем с 1.000 рабочих было занято 24% всех рабочих, в Германии 8%), а по абсолютным цифрам выше даже Америки (в 1914 г. в предприятиях с 1.000 рабочих и более в России было занято 1.300 тыс. человек, в Соединенных Штатах 1.255 т., при чем на каждое русское предприятие приходилось 2.290 рабочих, а на американское 1.940; но тут, конечно, нужно иметь в виду американскую машинизацию). Господство банкового капитала носило резко выраженные формы: в руках банков у нас было 86% всей добычи нефти, 76,9% всей добычи каменного угля, 85,8% всей металлургии.

По темпу своего роста русская металлургия за последние десятилетия перед войной занимала *первое место* в мире, что видно по следующей таблице выплавки чугуна:

ГОДА.	Соединенные Штаты.	Англия.	Германия.	Франция.	Россия.
	Миллионы тонн.				
1890	9,2	7,9	4,6	1,9	0,9
1913	30,9	10,2	19,2	5,2	4,7
1913 г. в % к 1890 г. . . .	336	129	418	273	522

Русская металлургия выросла за 24 года слишком в 5 раз, тогда как даже германская выросла лишь в 4 раза, американ-

[1] Мы говорим, конечно, о *самой* Англии, а не о колониях — как и сейчас мы говорили о самой России.

ская в $3^1/_2$. По количеству *веретен* русская прядильная промышленность уже в 1890 г. занимала первое место на *континенте* Европы (6 миллионов; Франция 5,04; Германия—5; остальные страны материковой Европы—менее 3; на первом месте шла Англия с 44 миллионами веретен).

Легенду об „отсталости" и „медленном росте" приходится оставить. А политические методы Ивана Грозного остаются на своем месте. И можно понять искушение, в которое впали т. Троцкий и его последователи: а не произошло ли какого-нибудь „сращения" этих методов с этой бурно развивающейся капиталистической индустрией? Не промышленный ли это капитал в шапке Мономаха расстреливал петербургских рабочих и латышских крестьян, громил кишиневских и одесских евреев и пачками вешал русских студентов за найденный в кармане браунинг?

Чтобы ответить на этот вопрос, возьмем один документ, вышедший из-под пера одного из самых *сознательных* слуг самодержавия конца XIX века. Читатель, вероятно, знает, каких поистине чудовищных размеров достиг русский *протекционизм*, русские таможенные пошлины в конце XIX в. Я об этом привожу данные в своих „Очерках", ставших предметом критики тов. Слепкова [1]. Об'яснение, которое я там даю,—изображая эти пошлины, как вещь, исключительно характерную для развития в России *империализма*, — неверно. Империализм может развиваться как в странах с высокими таможенными тарифами, вроде Соединенных Штатов, так и в странах умеренного протекционизма, вроде Германии или Франции, и даже в странах свободной торговли, какова Англия. Но одно остается всецело в силе: без этих чудовищных таможенных пошлин не было бы того бурного роста русской крупной промышленности, о котором говорилось выше.

Казалось бы, русские государственные люди эпохи Александра III должны были придавать громадное значение таможенной тарифной политике — ведь на этом держалось все хозяйство, шутка ли! И вот перед нами секретная, не для публики, записка *Бунге*, бывшего министра финансов при Александре III, человека очень образованного, даже ученого,—он был долгие годы профессором политической экономии в Киеве и умер членом Академии Наук. В его записке 137 печатных страниц. На них говорится обо всем, о чем угодно — и о национальной политике, и о еврейском вопросе, и о переобремененности занятиями министров, и об остатках подушной по-

[1] „Очерки", стр. 119—120.

дати в Сибири: и во всем этом винегрете на долю таможенных пошлин приходится *пять строчек*. Вот они: „Таможенные пошлины требуют серьезного пересмотра: надо упростить систему,—разумнее установить покровительство, сохранив за ними тенденцию для предоставления перевеса отпуска над привозом, для облегчения земледелия и потребления беднейших классов". Немножко меньше, чем дано остаткам подушной подати (ей отведено 10 строк) — раз в 100 меньше, чем уделено еврейскому вопросу... А протекционизм начал расцветать именно в министерство Бунге.

Решительно, евреями министры Александра III интересовались больше, чем таможнями. Несомненно, что отношение к евреям является одной из характерных черт социального содержания данной политической системы. Ни в одном государстве промышленного капитала вы не найдете никаких правоограничений для евреев. Тогда как во всех государствах торгового капитала они были. И вот, Бунге твердо стоит на том, что „предоставление евреям права повсеместной оседлости в России в настоящее время (1895 год!) было бы преждевременным". Это для него „не подлежит сомнению". А Бунге из министров Александра III считался либералом, и промышленно-капиталистическая оппозиция, в лице „левых земцев" и их прессы („Русские Ведомости", „Вестник Европы") относилась к нему мягко. О том же, что не только думали, *а делали* тогда по этому вопросу не-либералы, сам Бунге не мог писать без содрогания [1].

Обзор „всеподданнейших" докладных записок русских министров финансов 1880 годов привел недавно одного молодого исследователя к выводу, что эти министры смотрели на таможенные пошлины только с *фискальной* точки зрения, видели в них только источник государственных доходов: т.-е. что до Витте *протекционизма*, „покровительственной системы" в России никто *сознательно* не применял. В такой форме это утверждение, конечно, не верно — доказательством служат не только цитированные слова Бунге, где прямо говорится о „покровительстве", но и кое-какие письма и слова еще Але-

[1] См. то, что он говорит об изгнании еврейских ремесленников из Москвы Сергеем Романовым. Мимоходом он выбалтывает кое-что любопытное об отношении „образованного общества" к еврейству. „С разрешением получать высшее образование почти во всех учебных заведениях наравне с христианами, евреям по закону сделались доступными все отрасли государственной службы. Если поступление на последнюю было для них затруднено, то лишь потому, что некоторые начальствующие лица не сочувствовали наплыву евреев в администрацию, *а университетские коллегии не избирали евреев на места преподавателей*".

ксандра I и Николая I. Но в такую ошибку легко впасть: так мало звучали интересы промышленного капитала в русской финансовой политике последней четверти XIX века.

И из слов Бунге видно, что суть дела для него была не в покровительстве, а в „перевесе отпуска над привозом", т.-е. в *активном торговом балансе*. Если искать *непосредственной* материальной опоры последних самодержцев, то ею будет именно этот *активный баланс*. Активный баланс был царем и богом последних десятилетий императорской России. С ним падали и возвышались министры. Когда он ухудшался и грозил стать пассивным, цари ворочались ночью на своей постели, и если ухудшение шло „всерьез и надолго", у них вырывались гневные фразы, что теперь ничего не остается, как взяться за меч. Когда Сазонов доказывал Николаю II, в ноябре 1913 года, необходимость войны с Германией из-за Константинополя, он аргументировал от торгового баланса.

„Согласно об'яснительной записке министра финансов к проекту государственной росписи доходов и расходов на 1914 год, торговый баланс России в 1912 году был на 100 миллионов менее в сравнении со средним активным сальдо за предыдущие три года. Причиной этого министерство признает недостаточно удовлетворительную реализацию урожая; затруднение в вывозе хлеба, помимо стихийных причин, произошло вследствие временного закрытия Дарданелл для торговых судов всех наций. В связи с этим весною последовало также повышение Государственным банком учета на $1/2\%$ для трехмесячных векселей. Таким образом, временное закрытие проливов отразилось на всей экономической жизни страны, лишний раз подчеркивая все первостепенное для нас значение этого вопроса. Если теперь осложнения Турции отражаются многомиллионными потерями для России, хотя нам удавалось добиваться сокращения времени закрытия проливов до сравнительно незначительных пределов, то что же будет, когда вместо Турции проливами будет обладать государство, способное оказать сопротивление требованиям России"?

А когда война уже была в виду, и Николаю до зарезу нужна формальная гарантия Англии,—продолжавшей играть с последним Романовым в кошки и мышки, — он говорил (в апреле 1914 г.) Бьюкенену: если возобновятся враждебные действия между Грецией и Турцией, турецкое правительство закроет проливы. К этой мере Россия не может остаться равнодушной, так как это подорвало бы одинаково и ее торговлю, и ее престиж. „Чтобы вновь открыть проливы,—сказал Николай,—я прибегну к силе".

На карту было поставлено все—из-за интересов *торговли*. Тов. Троцкий может сколько угодно повторять обо мне, что я струвианец, бюхерианец и тому подобное,—с упрямыми историческими фактами я ничего не могу поделать. Война 1914 г. была для России ближайшим образом *торговой* войной, и это совершенно сознательно ставилось ее официальными кругами. В записке, представленной Николаю в ноябре 1914 года, на другой день после разрыва с турками, ее автор Базили (он потом сочинял в ставке отречение Николая), повторив знакомую нам аргументацию Сазонова от торгового баланса, заканчивает: „Свобода морского торгового пути из Черного моря в Средиземное и обратно является, таким образом, необходимым условием правильной экономической жизни России и дальнейшего развития ее благосостояния. Примером того, как давно сознается эта истина, могут служить следующие слова, написанные французским публицистом Фавье в 1773 году. „Война России с Турцией является прежде всего *торговой войной*, ибо для России черноморская торговля имеет столь же важное значение, как для Франции, Испании и Англии торговля американская".

Русский абсолютизм не только об'ективно был „политически организованным торговым капитализмом", он и мыслил себя, как таковой. В последнем он мог ошибаться, скажет читатель: но, во всяком случае, такая закоченелость идеологии (на этот раз от времен Екатерины II до XX века) не менее характерна, чем закоченелость „формы правления" и способа выражаться правителей. Посмотрим, однако же, были ли у этой веры в свою „торговость" какие-нибудь об'ективные основания. Для этого нам придется на минуту заняться божеством последних Романовых, торговым балансом.

Для ясности даем табличку.

Русский торговый баланс, по пятилетиям с 1861 по 1906 год, с 1908 по 1913 (+активный,—пассивный):

	милл. руб.
1861—1865 г.	+ 19,1
1866—1870 „	— 0,4
1871—1875 „	— 95,1
1876—1880 „	+ 9,6
1881—1885 „	+ 55,7
1886—1890 „	+ 23,6
1891—1895 „	+ 158,0
1896—1900 „	+ 90,8
1899—1903 „	+ 192,8
1904—1908 „	+ 333,7
1909 „	+ 581,3
1910 „	+ 431,4
1911 „	+ 491,3
1912 „	+ 391,3
1913 „	+ 200,4

Первое, что эти ряды цифр показывают, это, что торговый баланс и внешняя политика последних Романовых не впервые связались в 1914 году. Мы имеем до этого два крупных спуска кривой баланса—в первый раз „ниже нуля“ в пятилетие 1871—1875 г.г., второй раз почти до нуля в 1896—1900 годах (в наших пятилетних средних этот второй спуск скрадывается: на деле сальдо в пользу России в 1899 г. упало до 7,2 милл. з. р.; в то время это многие считали предвестием падения Витте). В первый раз мы вслед за этим имеем русско-турецкую войну 1877—1878 г.г.; второй раз после этого начинается подготовка к войне с Японией (1900 год — завоевание Маньчжурии, в 1901 г. Николай впервые заговаривает о возможной войне с Вильгельмом II). Каждый раз падение баланса вызывало пароксизм империалистской лихорадки у Романовых. Конечно, было бы непростительным „упрощенством“ сводить *все* к этому. Нигде закон множественности причин не сказывается с такой силой, как в вопросе о возникновении войн. В частности, участие России в войне 1914 года об'ясняется гораздо более общими, мировыми причинами, нежели местными [1]. Но поскольку в этих войнах был и „национальный“ момент, он был связан в первую голову именно с торговлей—с промышленностью лишь во вторую очередь.

И это, прежде всего, потому, что и русская промышленность зависела от активного баланса—и, может быть, не меньше, чем Романовы и их казна. Чтобы видеть это, достаточно беглого взгляда на состав русского *ввоза*. Возьмем, для примера, импорт 1913 года, последнего предвоенного [2]. В этом году общая цифра привоза достигла 1.220,5 милл. руб. Из них *почти половина*, 570 миллионов, приходится на промышленное сырье и полуфабрикаты, на машины и металлы не в деле, т.-е. материалы для машиностроения,—наконец, на каменный уголь и кокс: *почти наполовину наш импорт обслуживал промышленность*. Быстрый темп развития нашей промышленности нельзя себе представить без этого подвоза средств производства из-за границы. Активное сальдо 1913 года, как мы знаем, не превышало 200 милл. руб. Русской промышленности пришлось приплатить за необходимые ей вещи 370 милл. рублей. Представьте себе, что это повторялось бы в течение ряда лет, и вы поймете, что этой промышленности пришлось бы сжиматься, пришлось бы урезывать себя,—и скоро от ее роскош-

[1] См. мою статью „Как возникла война 1914 года“ в „Пролетарской Революции“.

[2] См. „Народное Хозяйство в 1913 г.“, изд. Министерства Финансов. Для всех подробностей отсылаю читателя туда.

ного темпа развития ничего бы не осталось, кроме приятных воспоминаний.

Между тем, самый баланс от промышленности зависел в весьма ничтожных размерах. Правда, под конец рассматриваемого нами периода Россия вывозила порядочное количество хлопчатобумажных тканей (до 41 милл. руб. по азиатской границе в 1913 г.) и немного рельс (до 7,7 милл. рублей в 1909 г.), но для общего итога это была капля в море. От промышленной кон'юнктуры баланс нисколько не зависел и даже имел странную тенденцию становиться к ней в обратную пропорцию. Начало 80-х годов отмечено кризисом, а баланс резко повысился. В 90-х годах мы имеем бурный под'ем промышленности, а сальдо к концу этого десятилетия резко падает. И самое колоссальное сальдо, неслыханное, почти в 600 милл. руб., падает на 1909 год, последний год длинного промышленного кризиса начала XX столетия. Когда русская промышленность была при последнем издыхании, русская торговля имела более румяные щеки, чем когда бы то ни было.

Эта зависимость нового от старого, промышленного капитала от торгового (что и тот, и другой начали уже свое перерождение в финансовый, что и торговля, и добрая доля промышленности сосредоточивалась в руках банков, дела не меняет, ибо специфические функции промышленного и торгового капиталов сохраняются и в период финансового капитализма [1], а у нас они имели каждый и свою специфическую *базу*) об'ясняет нам основные особенности нашей социально-политической истории этого периода. Только при свете этих фактов становится конкретной истиной фраза первого манифеста Р.С.-Д.Р.П., что буржуазия, чем далее на восток, тем подлее. Это не было каким-то сверхъестественным свойством этой буржуазии. Это вытекало из того материального факта, что промышленная буржуазия у нас должна была еще итти на поводу у торговой. Только эта последняя всецело стояла на своих ногах, первая же зависела не только от иностранного капитала, что все давно и хорошо знают, но и от торгового баланса, что менее известно, при чем первая зависимость усиливала вторую: если мы возьмем не торговый, а *платежный* баланс предвоенной России, т.-е. приложим к пассиву $^0/_0{}^0/_0$ по заграничным займам (в 1913 г. почти 200 милл. руб.),— от якобы активного сальдо ничего не остается.

Было более, чем достаточно, оснований, таким образом, чтобы в России конца XIX века, а с поправками на все возра-

[1] См. *Гильфердинг* „Финансовый капитал", пер. Степанова, стр. 370.

стающее влияние мирового финансового капитала и в начале XX—торговый капитал играл первую скрипку, а промышленный лишь вторую. После 1907 года это и находило себе политическое выражение в той приниженной, но все же активной роли, которую играла государственная дума, где имели голос и промышленные капиталисты с обслуживавшей их интеллигенцией. Социально этот компромисс выразился в столыпинском законодательстве, которое подробно рассмотрено в моих „Очерках". Нам более или менее ясно теперь, почему торговый капитал еще и в это время мог играть роль хозяина, а промышленный являлся как бы гостем, притом нельзя даже сказать, чтобы гостем почетным, а таким, которого пускают в комнаты по необходимости, но по уходе его зовут прислугу, чтобы она открыла форточки и изгнала запах неприятного посетителя. Отношение Александры Федоровны к Гучкову является тут очень хорошей иллюстрацией. Но если этого достаточно для об'яснения роли Гучкова, то этим еще не об'яснишь Распутина. Что позволяло торговому капитализму не только учить и командовать, но и являться в таком дезабилье, о котором ни в одной стране буржуазного мира он и подумать не посмел бы? Почему у нас была не просто бюрократическая монархия с фиговым листком куцой конституции, а самый настоящий азиатский деспотизм, вводивший наиболее экспансивных наблюдателей в искушение и все историческое развитие России зачислить по азиатскому департаменту? Почему гегемония торгового капитала сохранила у нас до XX века формы московского самодержавия? На это один анализ торгового баланса ответа еще не дает. Надо, прежде всего, посмотреть, на чем этот баланс держался.

Торговый капитал сам по себе еще не обладает чудотворной силой творить самодержавие. Опорой абсолютизма он является на определенной ступени экономического развития, в определенной конкретной обстановке. Вывоз сельско-хозяйственного сырья для Соединенных Штатов конца XIX века, позже для Австралии, Канады, Аргентины играл не меньшую роль, чем для царской России. Но перечисленные страны вывозили продукты *капиталистического* сельского хозяйства—и хлебный вывоз не мешал им быть странами промышленного капитализма. В русской литературе есть некоторая склонность преувеличивать значение сельскохозяйственного капитализма в России перед революцией. Но даже авторы, этой склонностью страдающие, должны признать, что на 21 милл. десятин пашни, обрабатывающейся при помощи наемного труда, в тех же районах Европейской России было 47 милл. дес.

крестьянской надельной пашни; даже, если считать всякое хозяйство, пользовавшееся наемным трудом, за капиталистическое, площадь капиталистического земледелия в России начала XX века составляла всего 30% всей пашни [1]. Но нет сомнения, что батраков нанимали и полукапиталистические, и лишь на четверть капиталистические хозяйства. С другой стороны, не капиталистическое хозяйство не ограничивалось крестьянской надельной землей: другими его формами являлись отработочная аренда, испольщина и т. п. По данным другого исследователя (проф. Кондратьева) из всего хлеба, поступавшего в начале XX века на рынок, внутренний и внешний, 78,4% шло с крестьянских полей и лишь 21,6% давало крупное, капиталистического типа, сельское хозяйство.

Торговый баланс романовской России держался не только на сельскохозяйственной продукции, но и на определенном *типе* этой продукции, на *мелком* хозяйстве. И это по той простой причине, что в России не только в 1830 году, когда об этом писал отец Муравьева-Виленского, а и 50 лет спустя *отработочный крестьянин*—прямой социальный потомок крестьянина барщинного—*обходился дешевле наемного работника.* Если мы возьмем стоимость всей пищи в год в рублях, с одной стороны, для батрака Орловской губернии, с другой—для однолошадного крестьянина соседней Воронежской, то первая цифра будет 40,5, а вторая лишь 27,5 [2]. Между тем, однолошадные и безлошадные крестьяне в черноземной полосе составляли *большинство* крестьянского населения (для Орловской губ. 56,4%, см. *Ленина,* там же, стр. 77). Главная масса нашей хлебной продукции опиралась не на эксплоатацию сельскохозяйственного *пролетария,* а на эксплоатацию деревенской бедноты в тесном смысле этого слова, т.-е. деревенского *паупера.* Что этот паупер с 1861 года был *юридически свободен* (заплатив за это еще большей пауперизацией), это был, конечно, шаг к капиталистическому сельскому хозяйству, но только лишь первый шаг. И конъюнктура на хлебном рынке сложилась такая, что для *второго* шага потребовалась революция 1905 года.

Что после этой революции абсолютизм существовал у нас в качестве *факта,* а не *права,* что между 1905 и 1917 годами у нас юридически был *компромиссный, ублюдочный* режим, только с *преобладанием* торгового капитала,* об этом достаточно говорится в моих „Очерках", и повторяться я не буду.

---

[1] *А. Шестаков,* „Капитализация сельского хозяйства России", стр. 41.
[2] *Ленин,* Собрание сочинений т. III, стр. 126.

Этот компромисс в „Очерках“ скорее преувеличен, нежели преуменьшен—и только волчьему аппетиту „теории перманентной революции“ могло показаться, что и этого мало. Увы! На самом деле было меньше. На самом деле предвоенная Россия была более страною торгового капитала, нежели изображено у меня в „Очерках“.

Прежде всего, еще один факт из чисто экономической области. Один из цитированных выше авторов, проф. Кондратьев, приводит любопытную табличку ссуд под хлеб, выдававшихся Государственным банком в 1910—1913 г.г. Из этой таблички следует, что на 57,4 милл. рублей ссуды, выданных сельским хозяевам, т.-е., главным образом, помещикам—за эти годы пришлось 135,3 милл. руб. ссуды, выданной *хлебным торговцам:* купец, более, чем в два раза, пожалован был щедротами царского Государственного банка сравнительно с дворянином. И это, не считая 263,5 милл. р. ссуды, выданной тем же банком под *дубликаты накладных,* т. - е., опять-таки, тем же купцам [1]. Настолько торговый капитал, выколачивавший хлеб из мелкого производителя, пользовался большим вниманием правительства Николая II, чем крупный сельский хозяин-предприниматель.

Но для того, чтобы выполнять свою функцию выкачивания прибавочного продукта из мелкого производителя, торговому капиталу мало было непосредственно торгового аппарата. Во всех странах и во все времена он прибегал для этой цели, в широчайших размерах, *к внеэкономическому принуждению.* Сохранение остатков внеэкономического принуждения в деревне составляет, быть может, характернейшую черту русского абсолютизма начала XX века. Как и антисемитизм, если даже не больше, это своего рода стигмат, „печать антихристова“, штемпель, по которому безошибочно можно угадать *тип* данного государственного образования, даже и не зная его экономической базы.

Мы совсем забыли *о земском начальнике,* с тех пор, как он перестал быть нам нужен для агитационных целей. Для людей возраста тов. Слепкова он, вероятно, даже сливается в одну общую кучу со всей царской администрацией, губернаторами, полицмейстерами, исправниками и т. п.

Это совсем несправедливое и исторически неправильное к нему отношение. Губернаторы и полицмейстеры имеются во всяком бюрократическом государстве. Им подчинены, в известном отношении, все „подданные“ такого государства. Земский

[1] См *Шестаков,* цит. соч., стр. 27.

начальник есть *сословная крестьянская власть.* Ему были подчинены *только крестьяне,* но зато во всех отношениях. Функции земского начальника так хорошо забыты, что для многих молодых читателей полезно будет посмотреть в конкретном виде, на чье место стала в деревне советская власть.

„Широте круга обязанностей, возложенных на з. н., соответствует полнота вверенной им власти. Все сельские учреждения и должностные лица им подведомы и от них зависят. З. н. может распорядиться о созыве сельского схода, он назначает сроки для собрания волостного схода, имеет право дополнить представляемые ему списки дел, назначенных к рассмотрению на волостном сходе, подвергает взысканию лиц, участвовавших в составлении приговоров сельского или волостного схода по предметам, их ведению не подлежащим, останавливает исполнение приговоров волостных или сельских сходов, постановленных несогласно с законами, *клонящихся, по его мнению, к явному ущербу сельского общества* или нарушающих законные права отдельных членов сельского общества, утверждает в должностях волостных судей и старшин, равным образом, в случае признания незаконными выборов сходами других должностных лиц, он распоряжается о производстве при себе новых выборов; от него зависит устранение от должности сельских и волостных писарей в случае признания их неблагонадежными; ему принадлежит право подвергать должностных лиц сельских и волостных управлений за маловажные проступки по должности, без формального производства, денежному взысканию и даже аресту до 7 дней, а за более важные нарушения временно устранять их от должности и входить с представлениями в уездный с'езд о совершенном увольнении их от службы. Кроме того, до высоч. указа 5 окт. 1906 г. з. н. мог, по ст. 61 Полож. о з. н., подвергать без всякого формального производства, и частных лиц, подведомственных крестьянскому общественному управлению, в случае неисполнения ими его законных распоряжений и требований, аресту до трех дней или денежному взысканию не свыше шести рублей. Так как законным должно было считаться всякое распоряжение или требование з. н., которое могло быть оправдано соображениями о хозяйственном благоустройстве и нравственном преуспеянии крестьян, то ст. 61 Полож. должна была получить и действительно получила чрезвычайно широкое применение“ [1].

[1] Взято из словаря Гранат, том 42. Статья проф. Н. Полянского.

Даже для того, чтобы только обкарнать несколько власть земского начальника, надобилась революция 1905 года. Пал же окончательно этот институт только вместе с самодержавием, в феврале 1917 года. Цитированные выше строки вышли ровно за год до этого события—меньше десяти лет тому назад.

Меньше десяти лет тому назад деревенская Россия, 85% русского населения, управлялась *дворянами*. Ибо, по крайней мере теоретически, по букве закона, земский начальник был всегда из дворян местной губернии. На практике дворян с соответствующим образовательным цензом (не ниже кадетского корпуса) уже давно не хватало, и в корпус земских начальников все сильнее и сильнее просачивалась разночинная струя. Но это не было новостью для абсолютизма; дьяки XVI-XVII веков, „птенцы" и прибыльщики Петра I, лейб-кампанцы его дочери Елизаветы, гатчинские майоры и капитаны Павла I тоже не всегда могли показать свою родословную; и даже у более щепетильного и чопорного младшего сына Павла, Николая I, бывали министры из купеческих приказчиков (Канкрин) и из крещеных евреев (статс-секретарь Позен). Абсолютизм брал свое добро, где находил. Для него важна была не чистота крови, а чистота системы. Дворянин или нет, земский начальник обеспечивал внизу сохранность тех остатков крепостного строя, без которых не мог орудовать торговый капитал. Это было главное. Внизу тщательно оберегались те добрые вотчинные порядки, к которым так „привык" русский крестьянин. Со свойственным ему практическим здравым смыслом последний и не думал маскировать этих порядков, предоставляя это профессорам государственного права. Земского начальника крестьянин попросту называл „*бариномъ*". Это и было, действительно, то, что осталось в деревне от барина и вотчинника после 1861 года [1].

Но вотчинная власть внизу сама собою предполагала вотчинные порядки и наверху. Лучше всего и закончить это маленькое исследование о социальной природе русской государственности перед 1917 годом характеристикой, данною ей не каким-нибудь оппозиционным публицистом, а последним ее слугою, последним министром внутренних дел Николая II, Протопоповым. Когда его допрашивали в чрезвычайной следственной комиссии временного правительства, между ним

---

1 Предшественником земского начальника был, как известно, *мировой посредник*, созданный именно реформою 1861 г. Но тот был слегка замаскирован в попечителя об *интересах* крестьян: режим Александра II еще старался соблюдать „европейские" формы.

и председателем комиссии Муравьевым произошел следующий диалог:

„*Протопопов.* — Вот как было обыкновенно. Когда государь уезжал в Ставку, он говорил: „Если вам что нужно передать, то скажите государыне". Государыня же говорила: „Напишите Анне Александровне" [1]. Вот каким образом этот путь был несколько предуказан. Верно это, верно вы изволите выражаться, что если что-нибудь хочешь сказать, или ту или другую мысль выразить, то и напишешь ей. Это верно.

Председатель. — Я бы понял эту формулировку, если бы бывший император сказал так А. Д. Протопопову: „Если вы хотите что-нибудь передать, то пишите моей жене." Жена могла сказать: „Пишите близкому мне человеку." Но как мог министр внутренних дел пользоваться этим путем? Ведь вы были член официального правительства? Есть председатель совета министров, возбуждается серьезный вопрос, а вы пытаетесь провести свою точку зрения каким-то таким не формальным путем.

Протопопов. — Г. Председатель, я понимаю; но я вас уверяю, этот путь не мной выработан. Это есть обычай. Этот обычай давно велся. Конечно, теперь я почувствовал, в чем была главная ошибка и мой грех. Но что было неправильно в корне, так это отношение к империи, как к вотчине.

Председатель, — Отношение к империи, как к вотчине?

Протопопов. — Вотчинное начало... И я в этот хомут вполне вошел. Мне надо бы против этого спорить, а я влез туда и все время эволюционировал не в ту сторону, куда нужно" [2].

Другими словами Протопопов высказал ту же мысль, что и Берсень-Беклемишев. Только тот смотрел на это с ужасом, как на валящуюся на голову гору, а этот с ужасом, как на пропасть, разверзшуюся у его ног. Один хотел спастись от нее в прошлое, другой в будущее. Но будущего у системы не было, и никуда она „эволюционировать" не могла.

Если бы могла, не понадобилось бы не только двух русских революций, 1905 и 1917 г. г., но и одной из них. Идея о „социальном перерождении" русского абсолютизма делает обе революции необ'яснимой загадкой. Зачем они были нужны,— если только не считать их (для 1917 года имеется в виду *февраль*) двум недоконченными взрывами начинавшейся *социалистической* революции 1917 года?

---

[1] Вырубова.

[2] „Падение царского режима", т II, стр. 298.

Одного *призрака* эволюции бывало достаточно для того, чтобы на много десятков градусов охладить температуру *буржуазной* революции в России. Первый раз призрак появился в 1861 году, — и русская буржуазия бросила Герцена. Второй раз он стал бродить, довольно упорно, в 1890 годах; если бы эра Витте не кончилась крахом, ее можно было бы счесть за начало „социального перерождения". И, весьма выразительно, на конец этой „эры" падает разгул экономизма. Но оба раза „эволюция" натыкалась на непереходимый барьер — необходимость сохранить внеэкономическое принуждение в деревне, без которого не мог обходиться торговый капитализм [1].

Таким образом, было совершенно достаточно *внутренних* причин, мешавших „социальному перерождению" „помещичьего государства". Но если бы мы ограничились внутренними причинами, картина была бы не полна. Во весь рост абсолютизм встанет перед нами лишь, когда мы привлечем к делу ту колоссальную *внешне-политическую* работу, какую он выполнял в интересах все того же торгового капитала. Но это настолько большой сюжет, что ему придется посвятить особую статью.

II.

Где уже только одни исторические замечания.

Продолжаю свое маленькое исследование о том, чем держалось русское самодержавие, и что помогло этому мамонту дожить до XX века.

Перед 1905 годом, отчасти и после, у нас очень распространены были разговоры о том, колониальная страна Россия или нет, колониальный тип развития у нас или нет. При этом имелось в виду, что Россия сама есть колония для западно-европейского капитала. Не обращали внимания на другую сторону: что Россия есть одно из величайших *колониальных государств* мира: что она,—колония она или нет по отношению к западно-европейскому капиталу,—является обладательницей самых больших колоний, какие только имеет какое-либо другое европейское государство, исключая Англию и Францию. По площади своих колоний среди этих государств царская Россия занимала даже первое место: в то время как площадь *всех* английских колоний составляла около 13 милл. кв. километров, всех французских—около 11 милл.,—площадь одной

[1] Для эры Витте особенно характерно крушение „комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности", на котором она оборвалась.

Сибири превосходила 13 милл. кв. километров. *По населенности*, русские колонии уступали, конечно, не только английским и французским, но и голландским. Но все же и население Сибири, Средней Азии и Кавказа в 1905 году доходило до 26 миллионов жителей, т.-е. равнялось хорошему европейскому государству, в роде Италии (второй половины XIX в.).

Что Сибирь, Средняя Азия и Кавказ суть *колонии*, этого у нас многие не понимали просто потому, что учебники географии под „колониями" разумели „заморские" владения, а все перечисленные страны имели с основным ядром „Российской Империи",—с тем, что называлось тогда „Европейской Россией",—непрерывную сухопутную связь. Поэтому многие в простоте души говорили тогда, что у России „вовсе нет колоний", или была, когда-то, только одна—„Российские Американские владения" по ту сторону Берингова пролива, да и ту в 1867 году продали Соединенным Штатам.

Но с этой, школьно-географической, точки зрения, нелепо было говорить и о России, как колонии Западной Европы, потому, что от последней Россия тоже морем не была отделена. Если же понимать под „колонией" то, что все экономически грамотные люди понимают, т.-е. страну менее культурную, чем метрополия, и служащую для последней источником сырья, а в новейшее время—местом, куда вывозится капитал (в эту стадию развития Россия перед 1905 годом еще не вступила), то все эти страны окажутся самыми что ни на есть образцовыми колониями, начиная с Сибири, которая уже с XVI—XVII в.в. доставляла один из самых ценных тогда видов сырья—пушнину, а позже золото, и кончая Кавказом, который в 1901 г. дал „империи" больше нефти, чем имело какое-либо государство мира, и Средней Азией, которая перед войной покрывала 50% всей потребности тогдашней России в хлопке. Это были настоящие колонии, форменные колонии,—и то, что в любую из них можно было доехать из Петербурга, не садясь на корабль, только давало одну добавочную черту: колониальные нравы, в Англии или Франции отделенные от метрополии океаном, в России не были от нее отделены никакой осязаемой чертой и свободно просачивались до самого центра.

А нравы эти были, опять-таки, более первобытные, чем где бы то ни было в это время. Использование колоний, как источников *промышленного* сырья, это, ведь, явление нового времени, для России конца XIX—начала XX века. В расцвет захвата колониальных владений в Америке и Азии, в XVI—XVII в.в., колонии просто *грабили*, просто отнимали у населения, что

было поценнее, а при малейшем сопротивлении самое население истребляли.

Колониальный грабеж был неразрывной частью *первоначального накопления.* „История голландского колониального хозяйства, — говорит Маркс, — а Голландия была образцовой капиталистической страной XVII века—развертывает бесподобную картину предательств, подкупов, убийств и подлостей".

Возьмем ли мы завоевание Закавказья в 1820-х годах, или Средней Азии—в 1860-х, эта характеристика Маркса будет бесподобной фотографией того, что проделывала в названных местах „не имевшая колоний" царская Россия. Вот перед нами один из самых образованных русских генералов начала XX века, друг декабристов, Ермолов, и вот два эпизода из истории „управления" им Закавказьем,—эпизода, излагаемых не по какому-нибудь „памфлету", а со слов официального историка Кавказской войны, тоже русского генерала, Дубровина. 24 июля 1819 года умер „после непродолжительной болезни" Измаил-хан шекинский (персы открыто говорили, что он был отравлен состоявшим при нем русским чиновником, и делали в этом смысле даже официальные заявления). В столицу умершего хана, Нуху, немедленно же были двинуты „для предупреждения волнений" русские войска. Затем, повествует генерал Дубровин, „главнокомандующий, *под предлогом* неимения *прямых наследников,* приказал ввести в ханстве шекинском русское управление... Вместе с тем было приказано: привести в известность ханские доходы, не изменяя ни количества их, ни порядка взноса; печать ханскую и мирзу, управляющего делами, взять под стражу, дабы пресечь ему возможность выдавать фальшивые ханские грамоты. Привести в известность грамоты, выданные Измаил-ханом на управление деревнями—или разного рода имущество, данное в собственность, *описать собственное имущество хана, долженствующее поступить в казну,* составить список всему ханскому семейству с обозначением состоявшей у каждого собственности, чтобы определить им приличное содержание от казны". Семейство умершего хана было попросту, таким образом, ограблено: официальные документы, на которых основано изложение Дубровина, умалчивают только об одном—какой комиссионный процент учли в свою пользу исполнители этой операции, русские чиновники, штатские и военные. Что они были здесь несколько заинтересованы, показывает всеобщая уверенность, разделявшаяся и русскими офицерами, что отравлен был Измаил-хан по прямому приказу главного военного начальника края, генерала кн. Мадатова. Этот же последний, по общему мнению, был виновником

и другой, не менее смелой, операции, совершенной в соседнем Карабахском ханстве. Здешнего хана, повидимому, отрава не брала, и для устранения его пришлось прибегнуть к средству менее трагическому, но зато для того времени необычайно прогрессивному,—теперь мы назвали бы его провокацией. Племянника хана подговорили донести на дядю, будто тот хочет его убить, при чем, для большей убедительности, было симулировано даже и самое покушение. Немедленно было наряжено строгое следствие. Поняв, к чему клонится дело, хан бежал в Персию, предусмотрительно захватив с собою большую часть жалованных грамот императора Александра, но зато бросив все свое имущество. Тогда племянника, который уже видел себя наследником всего оставленного ханом, включая и самое ханство, преспокойно сослали в Симбирск, а „выморочное" достояние карабахской династии поступило в собственность русской казны.

К таким сложным операциям приходилось прибегать, когда дело шло о ханах и беках, т.-е. помещиках. С „простым народом" обращение было, разумеется, проще. Вот, например, в какой обстановке жили при Ермолове чеченцы на плоскости—наиболее близкие к нам соседи: „В случае воровства каждое селение обязано выдать вора, а если он скроется, то его семейство. Но если жители дадут средство к побегу всего семейства вора, то селение предается огню. Точно так же обещано поступить с селением в том случае, если жители, видя, что хищники увлекают в плен русского, не отобьют его или не отыщут,—из такой деревни за каждого русского, взятого в плен, приказано брать в солдаты по два человека туземцев. Известно было, что без пособия и укрывательства самих владельцев горцы не могли проезжать от реки Сунжи, а потому по всему пространству своих земель владельцы должны были иметь постоянные караулы. Если же затем, по исследованию, окажется, что жители беспрепятственно пропустили хищников и не защищались, то деревня истребляется, *жен и детей вырезывают*"... „Таким образом, жители, попрежнему продолжая воровство и разбои" (или даже только не сопротивляясь разбойникам, прибавим мы), „непременно истреблены будут". И это не была пустая фраза—чеченцы могли рассказать о случаях, когда за убийство одного казака истреблялись до последнего жители целого аула. „Ужасный ропот в народе на несправедливые и нерезонные поступки Пестеля (командовавшего в Чечне генерала) дошел до меня в самом начале в'езда моего в здешние провинции", писал знакомый нам кн. Мадатов, посланный расследовать дело, когда

Пестель довел горцев до всеобщего восстания. „Народ говорит, что удовлетворения ни в чем не видит и даже ни одного ласкового слова от Пестеля, а слышит одни лишь только всегдашние повторения его: *прикажу повесить*".

А кн. Мадатов,—мы только что видели,—сам был человеком достаточно широких взглядов. Это, однако, все же касалось „виновных"—хотя бы в том, что русским генералам и офицерам „хотелось кушать". Но в официальной истории завоевания Кавказа мы на каждом шагу встречаем „меры воздействия", направленные против целых племен, уже без различия правых и виноватых. То у кабардинцев отнимут все земли, то у чеченцев отнимут весь корм для скота, запасенный ими на зиму, т.-е. фактически отнимут весь скот, ибо после этого им ничего не оставалось, как отдать весь скот русским, и т. д. и т. д. Как видим, в первой половине XIX в. царская империя ничем не уступала „образцовой капиталистической стране XVII столетия". Шли годы и десятилетия. Кавказ был завоеван, но „империя" продолжала держаться на той же высоте.

Вот перед нами другой выдающийся колонизатор, знаменитый туркестанский ген.-губернатор Кауфман. Он только что взял теперешнюю столицу Узбекистана Самарканд, взял вторично: жители, добровольно подчинившиеся при первом приближении войск генерала Кауфмана, вновь „отпали", когда русский отряд ушел дальше, а под Самаркандом появились состоявшие на службе бухарского эмира шахрисябцы. Попросту говоря, несчастные самаркандцы, по азиатскому обычаю, подчинились тому, кто был сильнее в данный момент. Они, однако, на этот раз прогадали: при всей незначительности сил, оставленных Кауфманом в самаркандской цитадели, взять эту последнюю бухарцам не удалось. Город был жестоко наказан за свое непостоянство: между прочим, сожжен был огромный самаркандский базар, разгромлены мечети, минаретами которых пользовались нападающие во время осады цитадели. Что „зачинщики" были без милосердия казнены—это разумелось само собою, при чем судопроизводство было упрощено до последних пределов возможности: комендант цитадели называл командующему войсками „виновных", а тот, покуривая папиросу, равнодушно приговаривал по поводу каждого: „расстрелять, расстрелять, расстрелять". Это показалось черезчур простым даже разделявшему взгляды военного начальника русскому художнику... Но самому начальству этого показалось мало, и оно, вдобавок ко всему прочему, разрешило солдатам в течение нескольких дней грабить город, не разбирая уже ни правого,

ни виноватого. Один из руководивших грабежом, какой-то интендантский чиновник, так рассказывал художнику Верещагину про свои подвиги. „Зашел я с солдатами в один дом, где старая-престарая старуха нас встретила словами „аман, аман" (будьте здоровы). Смотрим, а под циновкой, на которой она сидела, что-то шевелится. И, действительно, там оказался мальчуган—лет шестнадцати. Мы его вытащили и, натурально, убили вместе со старухой" [1].

И тут, как на Кавказе, дело не ограничивалось „виноватыми",—принимались меры и „общего характера". „Трепет азиатов перед русским именем,—рассказывает один патриотический русский путешественник,—был достигнут нелегко и стоил недешево. Необходимы были беспощадные кровавые расправы с туземцами за малейшую их попытку напасть на русского, прежде чем могло установиться в стране теперешнее, вполне безопасное положение. *Целые кишлаки выжигались до тла за какое-нибудь одно только тело убитого русского, найденное по соседству.* И иначе поступать было невозможно с народом, для которого грабеж и убийство были обычной стихией"... В другом месте наш автор находил у этого народа такую „душевную воспитанность", какой, к его огорчению, он не замечал у „простого русского человека". Но не будем ловить его на словесных противоречиях: вот факты, которые передал ему „один очень авторитетный житель Ташкента, имевший возможность со всех сторон изучить быт туземцев". „Мы нашли тут, в Туркестане, такую строгость нравов, о которой у нас и понятия не имеют. Слово самого маленького начальника для них было законом. Послушание изумительное. *Честность такая везде была, что ни один дом на ночь не запирался;* в Ташкенте, впрочем, и до сих пор не запираются по старой памяти, хотя *воровство удесятерилось против прежнего*"... Но пятьдесят лет, прошедших со времени Ермолова, все-же сказались. В Средней Азии уже не останавливались на простом наивном грабеже. Были применены „последние слова" новейшей финансовой техники. С каким совершенством, ответ на это дают размеры налога, падавшего на туземцев в начале XX века, сравнительно с тем, что они платили до начала русского владычества и в первые его годы. Вот один пример: Дагбитская волость Самаркандской области и уезда. „Ранее (до 1892 года) взимаемый налог, в сумме 320 рублей, ниже размера нового налога, в сумме 5107 р. 51 коп., на 1496,09%.

[1] Беру все эти примеры из моей книжки: „Дипломатия и войны царской России", стр. 186—187, 204—205, 331—332. За подробностями отсылаю читателя туда же.

Вы думаете, что это исключение? Разве лишь в смысле яркости примера: перечтите итоги по другим местностям, вы увидите 87%, 135%, 264% превышения нового поземельного налога над старым. Всюду налоги в $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{2}$ раза выше, относительно, чем были тогда в самой России. Меньше всего подвергалась фискальной эксплоатации из волостей Самаркандского уезда волость Дюрткульская—ее новые налоги выше старых всего на 43.35%. Но надо знать, что такое Дюрткульская волость. Вот, что о ней говорит *официальная* статистика: „К началу 70-х годов в этой волости было на счету русской администрации 45 населенных мест с 979 дворами, а спустя 20 лет, в 1893 году, здесь найдено 36 населенных мест с 817 дворами, т.-е. менее на 9 селений и 159 дворов". Но из наличных дворов 225 было выморочных, а 90 сиротских. „Если ко всему этому прибавить почти полное отсутствие людей в возрасте за 50 лет и наружный, крайне захудалый, вид населения, то понятным становится",—вы думаете, влияние русского управления на судьбу этой волости? Нет: „немаловажное значение санитарных условий".

Проходит еще 30 лет. Мы еще дальше на восток от места подвигов генерала Ермолова—в Маньчжурии. Как туда попали русские, это мы расскажем в другом месте, в настоящей связи нас интересует, как они там действовали. Мы опять берем почти официальный документ—записку одного из строителей Китайской восточной дороги (порт-артурской ветки), инженера Гиршмана, составленную в 1902 г., а относящуюся к событиям 1900-1901 г. г. Гиршман, человек деловой, притом сам бывший на войне (в Турции в 1877-1878 г. г.) соглашается, что „к войне неприменима прописная мораль, и в пылу сражения или, подавно, штурма, грабежи являются делом вполне естественным". Но, замечает он, „все-таки приходится думать, что такой пыл не может быть долговечным и, во всяком случае, не должен бы допускаться на продолжительное время, и что самый грабеж не должен доходить до какого-то безумного уничтожения добра только из страсти к уничтожению, и что, вместе с тем, должны бы приниматься меры к охранению того имущества, которое, будучи вполне безполезно для каждого отдельного солдата, являлось бы драгоценною добычей, в смысле облегчения военных расходов (предметы интендантского довольствия). К сожалению, однако, по крайней мере, в первом периоде войны до взятия Хайчена включительно, все высказанные соображения были оставляемы без всякого внимания...

„Приискивались предлоги к бесконечному ряду экспедиций, которые являлись столь желательными в смысле возможности

новых реляций и новых представлений к наградам, но, к сожалению, также и новых грабежей и порчи тех отношений, которые так легко было поставить в лучшем виде, при строгом исполнении соглашения".

А вот маленькие образчики того, что представляли собою эти самые „экспедиции":

„Другая крупная экспедиция предпринята была в сторону Монголии, под начальством генерала Церпицкого, на основании сведений, что Хин-цань (один из вождей сопротивлявшегося русским населения) находится около Кула и оттуда руководит новыми враждебными действиями против нас. Для всякого, знающего ту невероятную быстроту, с которой в Китае всякие известия передаются без телеграфа, не могло не быть ясно, что Хин-цань, несомненно, успеет уйти из своего убежища задолго до прибытия русских войск. С другой стороны, не было также секретом крайне дружеское расположение к нам монголов, а таковое еще усилилось, благодаря хорошим отношениям, установившимся между главными монгольскими ламами Мукдена и полковником Громбчевским. Благодаря этим отношениями, экспедиция была снабжена надежными китайскими чиновниками и письмами для предупреждения всяких лишних столкновений. Конечным путем экспедиции являлся город Куло с его древним монастырем, глубоко чтимым во всей Монголии и знаменитым своими богатствами. Все эти обстоятельства должны были, повидимому, с одной стороны, обещать самый спокойный поход экспедиции, а с другой,— внушить руководителям ее особую осторожность, дабы не терять расположения монголов. В первом отношении все шло, как нельзя лучше: повсеместно отряды, составляющие экспедицию, находили самый лучший прием, население встречало подарками, все необходимые припасы доставлялись по минимальным ценам, и, конечно, экспедиция вся прошла бы таким же образом, если бы генерал-лейтенанту Церпицкому не показалось неудобным совершать поход без всяких лавров. И поэтому, судя по личному мне рассказу его при нескольких свидетелях, генерал, приближаясь к Куло, притворяется больным, и потому принимается решение войти в Куло только на другой день. Когда же китайские чиновники, приняв соответствующие меры, легли спать, генерал немедленно выздоравливает, двигается ночью на Куло и, на основании какого-то выстрела, последовавшего будто-бы при подходе наших войск и вполне естественного, особенно в Китае, где ночные выстрелы служат лишь выражением бдительности сторожей города, монастырь захватывается силою; масса жителей и монахов предается

избиению, а затем начинается полнейшее разграбление, в результате коего на долю самого генерала, по его собственным словам, достается не меньше 200 штук одних древних идолов из золоченой бронзы.

„Параллельно с большими экспедициями шли и малые, предпринимавшиеся, вопреки соглашению, на основании всяких самых случайных сведений о появлении хунхузов или нахождении складов оружия. Подобной готовностью нашей к экспедициям, на основании не проверенных сведений, и нашим незнанием местных условий, прежде всего, воспользовались, судя по многим рассказам, сами хунхузы (китайские бандиты, для борьбы с которыми предпринимались экспедиции); имея в виду разграбить какого-нибудь зажиточного жителя, они сами доносили о таковом, как о хунхузе, и, конечно, прекрасно умели воспользоваться результатами следовавшего затем разгрома. Неудивительно, конечно, и то, что поданный генерал-лейтенантом Церпицким пример удачного парализования сопровождающих китайских чиновников, нашел вскоре подражателя в лице ротмистра Булатовича. Здесь, однако, прием был упрощен, так как чиновники были попросту арестованы; затем таким же способом и с тем же успехом, как в Куло, совершилось взятие укрепленной фанзы в 12 верстах от Мукдэна, которая, как и заранее можно было знать, являлась не хунхузским гнездом, а пунктом убежища для окрестного населения в случае опасности и потому изобиловала всем лучшим добром этого населения".

На протяжении трех четвертей столетия методы действия, как видим, эволюционировали так мало, что было бы смешным педантством искать здесь какого-нибудь „социального перерождения". При Николае II, как и при Александре I, непосредственной целью русской колониальной политики было тоже, что являлось такой же целью для португальцев или голландцев XVII века—прямой грабеж. И было бы в высшей степени странно, если бы эти типические приемы „первоначального накопления" руководились властью более современного типа, чем европейский абсолютизм XVI-XVII столетий.

Но „голландская" политика вырастала не на пустом месте. Голландия XVII века была, мы помним, „самой образцовой капиталистической страной" той эпохи, эпохи *торгового капитализма.* Те-же следствия заставляют искать тех-же причин, и участие русского торгового капитала в завоевании как Кавказа, так и Средней Азии, могло быть не замечено только потому, что историю этих завоеваний писали военные люди, слишком уже далекие от всякого исторического материализма.

Интересы этого капитала в Закавказьи, в начале XIX века, сознательно и официально ставились на первое место: Александр I, в инструкции отправляющемуся на Кавказ Ермолову, выразился, что он ставит торговые выгоды выше территориальных приобретений. Войны с Персией привели, прежде всего, к открытию этой, мало еще тогда доступной для европейцев, страны русским купцам [1]. Предшественник Ермолова, Тормасов, все завоевание Западного Кавказа ставил на почву торговой конкуренции с турками, от которых экономически до тех пор эта часть Кавказа зависела. Правда, попытки русских чиновников, непосредственно, вести торговлю кончились неудачей, но характерно, что даже военные люди видели настоящую подкладку совершавшихся ими завоеваний.

Под знаменем того же торгового капитализма началось и движение русских в Среднюю Азию. В середине XVIII века инструкция так называемой „оренбургской комиссии", на ряду с защитой границ от набегов со стороны киргизов и действительным, не только номинальным, подчинением последних России, ставила, как одну из целей этой политики, развитие торговых сношений с оседлыми соседями этих киргизов. Военные операции 30-х годов девятнадцатого века были вызваны ближайшим образом заботами об охране торговых караванов. Первая экспедиция в глубь Средней Азии—хивинский поход Перовского в 1839 году—одним из официально признававшихся мотивов имела „ограждение русских торговых интересов в Центральной Азии", и, сопоставляя с этим мотивом другие—обеспечение спокойствия русских киргизов или освобождение русских пленных, томившихся в хивинской неволе, слишком нетрудно угадать, что заставило правительство Николая Павловича истратить более полумиллиона рублей в этих, так далеких от центров его внешней политики, местах. Не даром и самую экспедицию официально называли не „карательной",—каковой бы она была, если мотивировать ее от хивинских набегов и грабежей, а „научною". А когда „научная экспедиция" на первый раз кончилась неудачей, „чтобы защитить своих подданных против киргизов, в 1845 году Россией было устроено в степи два новых укрепления, Тургай и Иргиз,—говорит один из историков русских походов в Средней Азии,—в короткое время здесь развилась оживленная меновая торговля".

Не добравшись до больших, центральных средне-азиатских рынков, удовольствовались мелкими, местными. А когда, чет-

[1] См. „Дипломатия и войны царской России", стр. 184, 193-194, 380 и след. „Русская история с древних времен", т. IV, стр. 30 и след.

верть столетия спустя, неудача Перовского была заглажена, русские войска заняли Ташкент и Самарканд и торжественным маршем вступили в Хиву, эти победы прежде всего другого открыли настежь двери для русской торговли. После 1873 г. она была об'явлена беспошлинной на всем пространстве как Бухарского эмирства, так и Хивинского ханства. Пользуясь там всеми правами туземцев—по части покупки земли, устройства складов, магазинов и т. д. — русские купцы были подсудны только русским властям, что бы они ни совершили на территории названных „независимых" государств.

Торгово-капиталистический смысл завоевания как Кавказа, так и Средней Азии, не вызывает никаких сомнений. Как обстояло дело с Дальним Востоком?

В начале дальне-восточной авантюры, закончившейся катастрофой под Мукденом и Цусимой, стоят два факта: *постройка Сибирской железной дороги* и основание *Русско-Китайского банка*. Оба факта тесно связаны с *колониальной политикой* царской империи, во-первых, и *с проникновением в Китай русского торгового капитала*, во-вторых.

Сооружение Сибирской железно - дорожной магистрали в конечном итоге сводится к основному стержню русской азиатской политики в течение всего XIX века, за вычетом первых его годов и с небольшим перерывом после Крымской войны (1853—1856 гг.). Стержнем этим было *русско-английское торговое соперничество*. Уже Паскевич, торжествуя в 1827 г. победу над Персией, торжествовал в тоже время победу над крупнейшим торгово-капиталистическим предприятием тогдашнего мира, английской Ост-Индской компанией. После занятия нами Тавриза,—писал он Николаю,—агентам Ост-Индской компании ничего не остается, как сесть на корабли в Бендер-Бушире (на Персидском заливе) и отправиться к себе домой в Индию. Вся история завоевания Средней Азии, от похода Перовского, до занятия Мерва в 1884 г., неразрывно переплетена с русско-английским конфликтом [1]. На другой день после взятия Мерва и столкновения русских с афганцами в 1885 г. Россия и Англия были на вершок от войны, и тут обнаружилось, что, в случае, если бы она вспыхнула, русские владения на Дальнем Востоке—только что, благодаря столкновению с Китаем из-за Кульджи в 1880 г., доказавшие свою реальную ценность для будущих захватов,—оказались бы наглухо отрезанными от метрополии: при отсутствии железных дорог в Сибири добраться до них можно было

[1] См. „Русская история с древнейших времен", том IV, стр. 240 и сл.

только морем, а морем, об этом уже никто не спорил, владела Англия. Приамурский генерал-губернатор и командующий войсками Иркутского военного округа единодушно требовали рельсовой колеи, хотя бы от Томска до Забайкалья (до Томска и по Амуру надеялись еще использовать речной путь). Образованное, вследствие этих заявлений, Александром III „особое совещание" — из четырех министров, с участием начальника Главного Штаба — пришло к заключению, что „проложение железной дороги через Сибирь, требуя от казны огромных пожертвований, не обещает в ближайшем будущем, при ограниченном торговом движении края, положительных выгод и может окупиться лишь со временем. Но нельзя не признать, что в общественном и, в особенности, в стратегическом отношении ускорение наших сообщений с отдаленным востоком становится с каждым годом все более неотложным. Поэтому, не предрешая ныне самого способа постройки, представлялось бы вполне соответствующим безотлагательно приступить к изысканиям участков Сибирской дороги, наиболее важных в стратегическом отношении... так как без этого наш главный порт в Тихом океане явится отрезанным от удобных сообщений с остальною Сибирью и лишенным всякой базы, и, в виду преимущественного стратегического значения проектируемых линий, желательно наиболее деятельное участие военного ведомства, в лице генерал-губернаторов, в производстве изысканий".

Но, раз гроза войны как-никак прошла, а денег в казне было мало, тогдашний (1887 г.) министр финансов, Вышнеградский, скупился, и дело затягивалось. В 1890 г. понадобилось „новое заявление от приамурского генерал-губернатора о затруднительности сообщения с Южно-Уссурийским краем и о невозможности обороны его за отдаленностью резервов". На докладе генерал-губернатора Александр III написал: „Необходимо приступить скорее к постройке этой дороги". Под давлением свыше Вышнеградский уже соглашался теперь дать деньги, но все же норовил затратить их хотя бы сколько-нибудь коммерчески и настаивал на постройке железной дороги сначала лишь в более населенной Западной Сибири, т.-е. очень далеко от угрожаемых берегов Тихого океана. На сторону военного ведомства стало министерство путей сообщения, для которого железнодорожное строительство, как таковое, представляло больший интерес, нежели коммерческая будущность построенных дорог. В конце концов решено было начать сибирскую магистраль сразу с обоих концов, при чем закладка дальневосточного конца во Владивостоке была обставлена особой

торжественностью: для этого был отправлен тогдашний (1891 г.) „наследник-цесаревич", будущий Николай II.

Так как военное происхождение Сибирской дороги было вне всякого сомнения, то в рескрипте Александра III наследнику очень подчеркивалось „мирное преуспеяние" Сибири и необходимость „соединить обильные дарами природы сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений". На самом деле дорога должна была служить, прежде всего, для колониальных захватов на Дальнем Востоке (благо Ближний, в лице Болгарии, только что ушел из сферы русского влияния), и внутренне-колонизационный вопрос логически стоял—*вторым*. Провести железную дорогу по пустыне было совершенно невозможно, для нее нужна была населенная зона, и зону эту приходилось создавать.

С этого конца политика опять подходила к экономике,—и преемник Вышнеградского, Витте, ставший, быть может, преемником отчасти именно поэтому, сумел подметить связь, которой не схватил ловкий биржевой делец, управлявший русскими финансами до него. В своей записке 13—25 ноября 1892 г. Витте писал:

„Принимая протяжение Сибирской железной дороги от Челябинска до Владивостока круглым числом в 7.100 верст и полагая, что эта дорога приблизит к Европейской России только прорезываемую ею полосу не свыше стоверстного расстояния от линии в обе стороны, то и в таком случае, благодаря железной дороге, в новые условия существования становится огромная территория в 1.420.000 кв. верст—территория, превосходящая Германию и Австро-Венгрию, вместе взятые, с добавлением Голландии, Бельгии и Дании. Если сравнить эту территорию с какой-нибудь частью Европейской России, то окажется, что она по пространству превосходит все взятые вместе губернии, заключенные между Окой, Волгой, Азовским и Черным морями и Австрийскою границею, с добавлением Привислинского края, т.-е. тридцать пять губерний. При том вся эта территория лежит в средних географических широтах (преимущественно между 50° и 57° сев. широты), по климатическим условиям не слишком резко отличается от центральных и восточных губерний Европейской России и в большей своей части представляет данные, вполне благоприятствующие развитию земледельческих и других промыслов.

В действительности, влияние Сибирской железной дороги, благодаря связи ее со всеми водными сообщениями Сибири, будет распространяться гораздо далее прорезываемой ею полосы, и не подлежит сомнению, что дорога даст могущественный

толчок экономическому развитию Сибири, всюду оживит и возбудит возможные по местным условиям отрасли производительной деятельности".

Помимо того журавля в небе, который летал нал Владивостоком, была синица, которая, можно сказать, сама просилась в руки русского торгового капитала. Эксплоатируемый этим последним крестьянин был экономически при последнем издыхании в европейской части „империи": голод 1891 г. был вчерашним днем, когда писал Витте. Самые тупые умы должны были задаться вопросом: что же делать дальше? Витте и указал выход.

„Крестьянское малоземелье,—указывалось в записке,—давно уже замечаемое во многих губерниях Европейской России, несомненно, должно быть отнесено к отрицательным явлениям русской жизни: оно невыгодно для народного хозяйства, потому что в непривычных условиях существования малоземельный крестьянин становится экономически слабым, его труд менее производительным; оно невыгодно для государства, потому что экономически слабые элементы населения служат скорее в тягость государству, требуя от него усиленных попечений и не давая взамен ничего; оно, наконец, не может быть признано и нормальным, в виду массы пустующих земель, которые остаются мертвым капиталом именно по отсутствию рабочих рук и которые посему очень выгодно заселять нуждающимися в земле для приложения к ней своего труда". Наиболее целесообразным способом уменьшения малоземелья является наделение нуждающихся крестьян казенными землями в Сибири, особенно в западной части ее. „Стремление малоземельных крестьян к переселению на новые места замечается уже теперь, но носит стихийный характер; если же правительство поставит переселенческое движение в более правильные условия, то можно полагать, что заселение плодородных сибирских пустынь пойдет весьма успешно, а, с появлением на месте достаточного количества рабочей силы, плодородные сибирские земли приобретут, без сомнения, притягательность и для более образованных общественных слоев, которые принесут с собой и капитал, и знание, и цивилизующее влияние на окружающую среду. Таким образом, Сибирская железная дорога обеспечит прорезываемому ею обширному краю *одно из главных условий для развития сельско-хозяйственной производительности, именно рынок сбыта и приток рабочей силы,* открывая вместе путь государству к разрешению одной из наиболее трудных задач — к прочному устройству экономического быта малоземельного крестьянского населения внутренних губерний Европейской России".

Итак, дорога создавала, прежде всего, *новый район торговокапиталистической эксплоатации.* Уже стесненный в своей практике обдирания мужика Европейской России,—ибо здесь мужик был уже ободран до костей,—торговый капитал приобретал теперь нового „клиента" как в сибирском „старожиле", так и в спешившем ему на подкрепление „новоселе".

Но и этим выгоды Сибирской дороги еще не исчерпываются. В заключение, Витте счел необходимым „установить определенную точку зрения на *торговое значение Сибирской железной дороги*". В этом отношении дорога должна, с одной стороны, способствовать увеличению вывоза сибирских грузов в Европейскую Россию, а с другой—устранить те неудобства, которые приходится испытывать при перевозке европейских грузов в Сибирь, а равно благоприятно отразиться на условиях торгового оборота в пределах этого края. Но торговое значение дороги не ограничивается теми выгодами, которые она может дать немедленно вслед за открытием движения, „вероятныя последствия этого предприятия следует рассматривать шире—в связи с тем основным фактором, что Сибирский путь установит непрерывное рельсовое сообщение между Европой и Тихим океаном и, таким образом, откроет *новые горизонты для торговли не только русской, но и всемирной*". „При этом для России особенно важно то обстоятельство, что она, участвуя в сообщениях Европы со странами азиатского востока на протяжении более десяти тысяч верст, может и должна воспользоваться не только всеми *выгодами посредника в торговом обмене произведений востока Азии и запада Европы,* но и выгодами крупного производителя и потребителя, ближе всех стоящего к народам азиатского востока. С постройкой Сибирской железной дороги не только усилится роль России на мировом рынке, но для нее откроются новые обильные источники народного благосостояния".

Как видим, Витте не уставал рекламировать „свою" дорогу, которой не умел оценить свергнутый им с финансового престола Вышнеградский (в частных разговорах Витте не скрывал, что это он „сломал шею" Вышнеградскому). Сибирская магистраль, наряду с винной монополией и золотой валютой, была одним из трех китов, на которых держалась политика Витте. Хронологически, постройка Сибирской дороги и его министерство совпадают: с ее началом он стал министром финансов, с ее окончанием он перестал им быть. Приведенная мною в таких больших отрывках записка, помимо своего конкретного содержания, характерна, как иллюстрация *подхода* к делу одного из самых влиятельных ведомств и одного из самых

влиятельных людей эпохи. Железная дорога для Витте была, прежде всего, другом, орудием *торгового капитала* и лишь в последней очереди обещала стать орудием и *капитала промышленного*. В то же время это была, конечно, и *стратегическая* дорога. Это все время твердо помнил тот, кто ее закладывал. Для Николая II дорога не имела смысла вне ее конечной военной цели. В конце концов экономика и стратегия воплотились—первая в лице Витте, вторая—в лице Николая и окружавшей его безобразовской шайки. И стратегия победила своего собственного министра финансов, чтобы быть затем побежденной на настоящем военном поле битвы с Японией.

А теперь, словами опять-таки самого Витте, расскажем, зачем был открыт *Русско-китайский банк*.

„Вскоре после открытия комитета Сибирской железной дороги министр финансов возбудил в комитете вопрос о *торговых интересах* России на Дальнем Востоке и, в особенности, о сношениях ее с Китаем. Имея в виду, что Китай и Япония, с приближением к их пределам Сибирской железной дороги, станут более доступными для сбыта русских продуктов и, в свою очередь, вероятно, примут меры к развитию своего вывоза в Россию, министр финансов полагал уже тогда своевременным всесторонне ознакомиться с *условиями нашей торговли на Крайнем Востоке и изучить потребности тамошних рынков*. Для достижения этой цели следовало бы, по мысли министра финансов, организовать срочное получение от наших дипломатических представителей и консулов обстоятельных *сведений о ходе международного обмена* и о развитии промышленности в названных государствах, так как без таких сведений едва-ли возможно надеяться на серьезное расширение торговых оборотов наших на Дальнем Востоке.

К доставлению *торговых сведений* необходимо было бы также привлечь особых правительственных *торговых агентов*, а также пользоваться услугами проживающих в Китае и Японии *русских купцов*, успевших по личным наблюдениям основательно ознакомиться со своеобразными условиями местного экономического быта. Для изучения же наших пограничных сношений с соседними странами министр финансов признавал полезным образовать на местах особые комиссии из сведущих лиц, знакомых с этими далекими окраинами...

При производстве торговых сношений России с Китаем издавна ощущалась потребность в таком банке, который облегчал бы взаимные расчеты обеих сторон. В китайских портах до того времени оперировали немецкий, французский и несколько английских банков, и русские купцы принуждены

были постоянно обращаться к услугам этих банков, оставляя в их пользу весьма значительные суммы. *Главною операцией русской торговли в Китае издавна являлось чайное дело.* В Хон-Коу, главном чайном рынке, на долю русских приходилось в то время до 46% всего вывоза чая, и в этой отрасли торговля России всегда занимала первенствующее и вполне самостоятельное положение. Между тем платежи за чай русские торговцы должны были производить траттами на Лондон, которые реализировались либо в Шанхае, либо в самом Хон-Коу, где на время чайного сезона открывались агентства иностранных банков в Китае, при чем иностранные агентства, в виду отсутствия конкуренции, взимали весьма высокие проценты. Размер платежей, производившихся здесь русскими фирмами в течение чайного сезона, был весьма значителен: например, за сезон 1893 года—последнего отчетного года перед учреждением Русско-Китайского банка—из России было переведено в Китай 1.540.000 фунтов стерлингов и 132.000 рублей серебром в слитках. С учреждением банка в Китае операция по переводам денег в китайские пункты постепенно могла перейти в этот банк.

Кроме того, русский банк в Китае должен был облегчить самыя условия чайной торговли; при отсутствии кредита торговцы чаем должны были располагать крупным оборотным капиталом, а потому торговля эта делалась доступною только немногим очень богатым фирмам, тогда как русский банк дал бы возможность принять участие в чайной торговле и мелким фирмам, открывая им необходимый для этого кредит и, таким образом, содействовал бы привлечению к оборотам с чаем новых русских сил".

Итак, в первую голову банк должен был служить интересам русской *чайной торговли.* Огромным недостатком этой последней была ее ужасающая *пассивность*: русские платили за чай *деньгами,* благодаря чему, при 6 миллионах р. ввоза в Китай из России получалось 39 миллионов рублей вывоза из Китая в Россию, т.-е. сальдо не в нашу пользу в 33 миллиона, в 50% всего русского ввоза. Чтобы избежать этого, Витте предполагал усилить ввоз русских продуктов в Китай. „Вместе с тем банк этот мог бы содействовать ввозу *русского керосина* на китайские рынки, где ему приходится выдерживать конкуренцию с керосином американским. Вообще не могло быть сомнения, что такой банк оказал бы существенное влияние на расширение торговых сношений наших тихоокеанских окраин с Китаем и на ввоз в него наших *пищевых продуктов,* всегда находивших себе здесь хороший сбыт".

Как видим, вывозить предполагалось отнюдь не произведения русской обрабатывающей промышленности, а керосин и пищевые продукты, т.-е. хлеб, мясо, рыбу и т. п. Чтобы банк не уклонялся от своей прямой задачи, служить русской *торговле,* были приняты специальные меры. „Министерство финансов заботилось главным образом о том, чтобы деятельность банка в России не отвлекала его внимания и капиталов *от прямого их назначения служить развитию русской торговли на Востоке;* поэтому банку вовсе не разрешены были в России операции по выдаче ссуд и открытию кредитов под залог процентных бумаг, драгоценных металлов, товаров, коносаментов и т. п.; но, взамен того, в виду непосредственных сношений банка с азиатскими государствами, ему разрешены были некоторые операции, другим банкам не разрешаемые, как, напр., покупка и продажа процентных бумаг, транспортирование товаров (прием товаров в залог с выдачею варрантных свидетельств) и даже *покупка и продажа товаров,* но при том лишь условии, чтобы все эти операции производились исключительно в интересах нашей торговли с Дальним Востоком и имели непосредственное отношение к тем русским фирмам, которые производят обороты свои в пределах азиатских стран. Что же касается действий банка в других европейских странах, то в этом отношении банку предоставлено было совершать все операции, разрешенные местными законами.

Если деятельность Русско-Китайского банка была сравнительно ограничена в пределах европейских стран, то тем шире и свободнее организована она для Востока. Здесь, кроме операций чисто банкового характера, Банку разрешены были и такие операции, которые можно назвать *торговыми, страховыми и комиссионерскими.* Банку предоставлено было покупать за свой счет или по поручению частных лиц товары, *принимать на себя транспортировку товаров (морскую, речную и сухопутную),* страховать их от огня и от других несчастных случаев, покупать и продавать за счет третьих лиц недвижимости, учитывать векселя и выдавать ссуды не только на девять месяцев, как это установлено для других банков, но и на год, и даже выпускать собственные билеты".

Но, кроме торговца, банку не возбранялось быть и откупщиком. „Наконец, кроме всего этого, банку разрешено было с целью возможного усиления русского экономического влияния, получение платежей по податям, производство операций, имеющих отношение к местному государственному казначейству, чеканка местной монеты, а также *получение концессий на постройку железных дорог и проведение телеграфных линий*".

Едва ли можно найти документ, где связь *железнодорожного строительства* именно с *торговым капиталом* выразилась бы более четко. Я должен, таким образом, взять назад высказанное мною однажды (в „Русской истории в самом сжатом очерке", ч. III) утверждение, будто и Русско-Китайский банк имел *главной* целью железнодорожное строительство и будто эту цель поставил перед Витте металлургический кризис конца 1890 годов. Устав банка был утвержден 10-го декабря 1895 г., когда никаким кризисом еще и не пахло, и строительство железных дорог вытекало отнюдь не из потребностей русской промышленности, а из потребностей русского торгового капитала, как, впрочем, было и в самой России в 1860-х годах.

Связь эта сознавалась, нужно сказать, и гораздо раньше. Уже в своей записке 1892 г. Витте писал, „что Сибирская железная дорога настолько приближается (в Забайкалье) к китайской границе, что является возможность, с помощью ветви в китайские пределы, завязать *непосредственный торговый обмен с внутренними весьма населенными провинциями Китая*. Постройка такой ветви едва ли встретит серьезные препятствия в ближайшем будущем, а в этом случае наши торговые обороты с Китаем стали бы расширяться очень успешно, обеспечивая в то же время увеличение доходности магистральной Сибирской линии и усиливая наше значение в международной торговле с Китаем".

Таким образом в самом конце XIX в. в своей внешней политике империя „Романовых" осталась колониальной державой наиболее примитивного типа—*аппаратом торгово-капиталистической эксплоатации* мало-культурных (или казавшихся мало-культурными) стран. Промышленный капитал и во внешней политике, как внутри России, шел по пятам торгового. Торговому капиталу нужны были железные дороги,—и промышленность их строила, но лишь там и постольку, где и поскольку это нужно было торговому капиталу. При этом методы действия этого торгового капитала менялись так же туго, как и методы действия русского самодержавия внутри страны. При первой заминке или просто при первом удобном случае банковые операции сменялись лихим ударом кулака: в 1896 г. начал свои операции Русско-Китайский банк, а уже в 1900 г. на китайской территории оперировали генералы Церпицкий и Ренненкампф с братией. Но *цель* операций обоих типов была одна и та же: создание новых колоний, новых жертв эксплоатации русского торгового капитала.

Читатель видит, как нелепо жаловаться, что у того или другого писателя торговый капитал „заполонил всю русскую

историю". Это очень сродни жалобам на то, что у К. Маркса теория прибавочной стоимости „заполонила" всю политическую экономию. Что же делать, если эта теория так много об'ясняет в буржуазной экономике. Что же делать, если только торговым капитализмом можно об'яснить такой чудовищный факт, как переживание в России на заре XX столетия абсолютизма типа XVI—XVII в.в. Другого *марксистского* об'яснения пока не дано, а попытки его дать привели к бессознательному плагиату у Чичерина и Соловьева, которые были весьма почтенными людьми, конечно, но только совсем не марксистами...

Вопрос о долговечности самодержавия сводится, таким образом, к вопросу о причинах, обеспечивавших в России долголетие торгово-капиталистической, т.-е. наиболее *экстенсивной*, форме капиталистической эксплоатации. То-есть перед нами все тот же вопрос о причинах „отсталости" русского народного хозяйства на ряду с чудовищно-быстрым ростом русской капиталистической промышленности. Картина колонизаторской деятельности „Романовых" потому и ценна, что она разрешает эту загадку. И экстенсивность русской капиталистической эксплоатации и экстенсивность русского крестьянского хозяйства сводятся к *одному* корню, об'ясняются *одним* фактом: наличием на востоке огромной площади нетронутой целины, куда мог уйти от „тесноты" русский крестьянин, и куда мог пойти следом за ним русский торговый капитал. Сибирская железная дорога за десять лет в пять раз увеличила количество сибирского экспортного хлеба (с 13 милл. пудов в 1900 г. до 57—70 милл. пудов перед войной 1914 года)[1]—и пришлось даже принимать меры против „затопления" рынка сибирским хлебом путем особых ухищрений с железнодорожным тарифом. Вывоз масла с 400 пуд. (стоимостью на 6.000 руб.) в 1894 г., когда дороги вовсе не было, поднялся до 4,6 миллионов пудов в 1915 году (стоимостью на 74.000.000 руб.). Благодаря сибирскому маслу Россия стала *второй* в мире страной на международном масляном рынке (первою была Дания)—1/5 всего потребления масла Англией покрывалась Россией.

При таких великих и богатых милостях, которые давало простое географическое *расширение площади* русского сель-

[1] Вывоз хлеба из Сибири развивался таким темпом:

Года.	Милл. пудов.
1905	17
1906	28
1907	44
1908	58

ского хозяйства, стоило ли хлопотать о его *интенсификации*, о развитии у нас капиталистического сельского хозяйства с машинами, искусственным удобрением и проч.? А впереди мерещились новые обширные площади северной Манчжурии, которую ген. Куропаткин, поддерживаемый Плеве, рассматривал именно как арену будущей русской колонизации, почему и предполагалось не пускать туда китайцев.

Диалектика процесса и выразилась в смене разных форм торгового капитализма. Создание новых районов мелкого крестьянского хозяйства для торгово-капиталистической эксплоатации было, несомненно, относительно прогрессивным типом этой последней: это уже был не простой грабеж. И этой диалектике торгового капитализма соответствовала диалектика политически обслуживавшего его самодержавия: переселенческая политика была под лозунгом *бюрократии*, грабительская была под покровительством вотчинной верхушки всей системы. Николай и безобразовская шайка тянулись к южной Манчжурии и Корее, странам, относительно густо населенным и богатым, куда никого нельзя было переселить, но где можно было грабить готовое. Это противоречие *внутри* самодержавия и выразилось в начале 1900-х годов в образовании рядом двух правительств: „ведомственного",—с Витте, Куропаткиным, Ламздорфом и т. д.,—и „вневедомственного", во главе с Николаем и Безобразовым. Оба отражали интересы *торгового* капитала, но двух его различных фаз.

А ниже этой диалектически построенной верхушки, давимые ею, но давя и на нее, стояли представители промышленного капитализма, фабриканты, заводчики и „левые земцы", капиталистические помещики. Это была власть завтрашнего дня, власть, шедшая на смену самодержавия, но в 1906 году добившаяся только *компромисса* с самодержавием в лице правительства Столыпина.

Диалектика всего процесса налицо, но она *отставала* от диалектики народного хозяйства. В ту минуту, когда—во время империалистической войны—промышленный капитал стал подходить к власти, уже существовали все условия для следующей стадии развития *государственного капитализма*. Громадный восточный пустырь, тяжелым грузом висевший на русском народном хозяйстве, всего тяжелее тянул книзу его политическую надстройку. На вопрос о причинах отсталости и приходится, прежде всего, отвечать указанием на наличие колоний и, в первую очередь, Сибири, но затем и Кавказа и Средней Азии. Не даром Щедрин с гениальной меткостью создал „ташкентца", как тип наиболее реакционной формы государственного

насилия. И благодаря историко-географической обстановке „ташкентец" легко одерживал верх над более прогрессивными формами „государственности". И всего более отставшая диалектика верхушечного аппарата все ближе и ближе нагонялась великим и основным диалектическим противоречием: эксплоатирующего верха и эксплоатируемой трудящейся массы. Сравнительно слабая—сравнительно с временами Николая I, например, сопротивляемость верхушки именно и об'ясняется раздиравшими эту верхушку диалектическими противоречиями, которые, чем ближе к нашему времени, тем становились острее. Пока дело не дошло до того, что тяжелый дух вотчинного режима стал невыносим даже для Протопопова...[1]

„Под Знаменем Марксизма", 1925 г., №№ 4 и 5.

---

[1] Т. Слепков (см. номер „Большевика" от 1 июня) продолжает с достойным лучшего применения усердием ломать открытие двери, доказывая: 1) что Ленин был диалектик, 2) что русское государство, как и все вещи на свете, развивалось диалектически. Ни в том, ни в другом ни у одного русского марксиста никогда не было ни малейшего сомнения. Но спор у нас с товарищем Слепковым идет совсем не об этом. Спор идет о том, представляло ли русское *самодержавие* (а не русское *государство*, т. Слепков: это две вещи *разныя*) в конце XIX в. *промышленный* капитализм или же *нет*, а промышленный капитализм в системе, именуемой „русское государство", представлялся не самодержавием, а силами ему враждебными (напр. в 1910—1914 г. *оппозиционными* партиями государственной думы,—которая, конечно, была такою же составною частью „русского государства", как и боярская дума XVII века, о которой говорил Ленин). Т.-е. было ли русское самодержавие в конце XIX в. *прогрессивным* явлением, толкавшим *вперед* экономическое развитие (о прогрессивной роли промышленного капитализма для той эпохи, опять-таки, ни один марксист не спорит, спорили против этого только народники), или же оно было силой *реакционной*, это развитие задерживавшей. Думаю, что стоит так поставить этот вопрос, чтобы на него и ответить—и чтобы видеть, в каких безнадежных противоречиях запутываются те, кому приходится об'яснять „особенности исторического развития России" наперекор марксизму.

О пользе критики, об абсолютизме, империализме, мужицком капитализме и о прочем.

(Нечто в роде хрестоматии).

Посвящается тов. *А. Н. Слепкову.*

Приятно быть предметом критики. Во-первых, чувствуешь, что тебя замечают: уже это лестно. Во-вторых, можешь отвечать—завести разговор. Перестаешь быть гласом вопиющего в пустыне. А то стоишь, как статуя Мемнона из учебника Иловайского, и „вещаешь" (статуя Мемнона, как помнят читатели Иловайского, именно этим и занималась, дважды в день, утром и вечером). А вокруг тебя „гулкая тишина". Что она обозначает? Почему молчат? Согласны? Или просто не слушают? Или, еще проще, спят?

И вот тишину разрезает звонкий и ясный голос: „не согласны!".. С чем не согласны? „Со всем вообще, все не так!".

Очень хорошо. Есть о чем поговорить.

Поговоримте-ж.

Рецензия тов. А. Н. Слепкова, посвященная моим „Очеркам по истории революционного движения в России XIX-XX в.в." [1], распадается на три части. В первой, приблизительно 2 страницы, ликвидируется моя общая концепция русского исторического процесса. Во второй (почти 4 страницы) мне раз'ясняется, что такое империализм и что я должен предпринять, чтобы сие усвоить. В третьей (опять же примерно 2 страницы) я получаю некоторые сведения по истории русского крестьянства. В общем, на 8 страницах предпринимается довольно полная Umvälzung der Wissenchaft, именуемой русской историей в том ее понимании, которое до сих пор многими (в том

[1] См. «Большевик» № 14, 5 ноября 1924 года.

числе и В. И. Лениным—относительно 1-й части, по крайней мере) признавалось марксистским.

Дело нешуточное. Отнесемся к нему серьезно.

На первых двух страницах тов. Слепков выражает свое неудовольствие тем, как я понимаю *социальную сущность самодержавия* (курсив его). Это, видите ли, неправда, будто „самодержавие—политически организованный торговый капитализм". Положим, когда я спорил на этот счет с т. Троцким, я был прав,—соглашается и тов. Слепков: но, повидимому, правота моя заключалась именно в том, что я спорил с тов. Троцким. Вообще же говоря, как я могу быть прав, ежели я смешиваю воедино две такие различные категории, как помещик и купец? Ежели я „не охватываю динамики самодержавия" и не замечаю, что „во 2-й половине XIX века происходит" его „социальное перерождение"? Правда, и после раз'яснения тов. Слепкова я не совсем схватываю, в чем это „перерождение" состояло. Троекратное подчеркивание *„капитализирует", „капиталистический"* мне ничего не дает—ибо ведь и торговый капитализм есть разновидность капитализма, а не чего-нибудь иного. Но останемся при том, что понятно: самодержавие,—„разумеется",—не есть политическая организация торгового капитала. Посмотрим, насколько это согласно *с марксистской теорией.*

Я беру, буквально, первую попавшуюся серьезную марксистскую книжку. Писатель, которого я сейчас буду цитировать, авторитетен и в глазах тов. Слепкова, который говорит в своей рецензии, что с этим писателем в очень важном вопросе „согласны все марксисты". Что же говорит этот автор?

„Последнее (крупное землевладение) непосредственно заинтересовано в промышленном развитии. Оно должно продавать свои продукты,—и капитализм создает для него большой внутренний рынок и открывает возможность развития таких сельско-хозяйственных отраслей промышленности, как винокурение, пивоварение, фабрикация крахмала и сахара и т. д. Такая заинтересованность крупного землевладения имеет крупное значение для развития капитализма: обеспечивает последнему на ранней стадии его развития поддержку крупного землевладения, а вместе с тем и государственной власти. Политика меркантилизма и выдвигалась всегда поместьем, продуктом капиталистического преобразования сеньериального хозяйства.

Дальнейшее развитие капитализма очень быстро разрывает эту общность интересов, порождая борьбу против *меркантилизма и его исполнительного комитета, абсолютной*

государственной власти. Эта борьба направляется непосредственно против землевладения, которое в значительной степени подчиняет себе эту государственную власть, замещая руководящие посты в войске, бюрократии и при дворе, повышая свои доходы экономической эксплоатацией государственной власти и являясь для окрестностей поместья непосредственным ее представителем".

Итак, по мнению Гильфердинга (цитата взята у него—„Финансовый капитал", русск. пер., изд. 3-е, стр. 404, курсив мой. М. П.), абсолютная государственная власть есть „исполнительный комитет меркантилизма". Это, конечно, теоретически лучше выражено, чем мое определение „политическая организация торгового капитала", ибо охватывает не только крупное сельское хозяйство, как поставщика для рынка, но и уральские горные заводы, работавшие на крепостном труде, и крепостные суконные и полотняные мануфактуры, и винокуренные и сахарные заводы и т. д. Но по существу это, конечно, то же самое. При этом, характеризуя свой „исполнительный комитет", Гильфердинг, как и я, в процессе его создания не находит нужным различать „помещика" и „купца": наоборот, помещик у него является даже инициатором „политики меркантилизма". Антагонизм между этими двумя группами появляется лишь в процессе „дальнейшего развития капитализма"—с „развитием промышленности", о котором говорится дальше. („Развитие промышленности усиливает политическую позицию буржуазии и угрожает землевладению полным лишением политической власти", там же). Эта дуэль старых и новых форм капитализма, торгового и промышленного капитала, изображена на стр. 14-19 моих „Очерков". Мимоходом сказать, читавшего эти страницы должно очень изумить заявление т. Слепкова, будто у меня „торговый капитал заполонил всю русскую историю". Гильфердинг только напрасно относит эту дуэль целиком на время „после победы над абсолютизмом", ибо без этой борьбы—не купца и помещика, собственно говоря, а промышленности нового типа и „меркантилизма"—не было бы и этой „победы".

Дело, думается мне, достаточно ясно—и мне нет необходимости ни повторять цитаты из 1 тома „Капитала", приведенные мною в полемике с тов. Троцким, ни приводить отзыв тов. Ленина о I—II частях „Сжатого очерка", где впервые была изложена критикуемая т. Слепковым концепция (отзыв этот у меня имеется в форме частного письма—почему особенно мне и не хотелось бы его тревожить). То же, что противопоставляет этой концепции тов. Слепков, отчасти взято

из моей „Русской истории с древнейших времен“ (из глав, посвященных XVIII веку) и, фактически, верно—центр тяжести внутри „меркантилистского“ блока несколько раз перемещался — но нимало не опровергает общей характеристики „меркантилизма“, как ее дает марксистская литература, отчасти же—тут я должен очень огорчить т. Слепкова, но вольно же ему было за эту скользкую тему браться — воспроизводит характеристики т. Троцкого [1].

Перехожу ко второй части рецензии. Здесь, сразу должен сказать, позиция тов. Слепкова гораздо сильнее: приведенная им страница „Очерков“ принадлежит к наименее удачным в книге и не дает, конечно, никакого понятия ни об империализме вообще, ни о русской разновидности империализма в частности. Если бы тов. Слепков ограничился констатацией этого факта, факта моей педагогической неудачи, моего неуменья упростить трудный вопрос так, чтобы упрощение не превратилось в искажение,—мне нечего было бы возразить. На мое счастье, тов. Слепков решил не ограничиться критикой Покровского-педагога, а привлечь к ответу и Покровского-историка, да кстати еще свести воедино двух теоретиков, которые на один стул никак не усаживаются—Ленина и Гильфердинга.

Теоретически интереснее, конечно, вторая попытка тов. Слепкова—она же, кстати, дает случай об'яснить и причины моей педагогической неудачи. Но обойтись без самозащиты Покровский-историк все же не может.

Тов. Слепков весьма продолжительное время поучает меня, что моя характеристика пролетарской революции 1917 г., как *мирового* явления, обязывает меня „к анализу *мировых связей эпохи финансового капитала*, т.-е. характеристики *специфической* структуры „новейшего этапа капитализма“. Она обя-

[1] Ср. *Слепков*, стр. 115. „Во второй половине XIX века происходит социальное перерождение и помещика, и помещичьего самодержавия. Под влиянием мировых экономических связей и роста вывоза хлеба, помещик *капитализирует* свое хозяйство; помещичье же государство строит жел. дороги, являющиеся *крупно-капиталистическими* предприятиями, и поощряет развитие индустрии, связанное с желдорстроительством. Таким образом помещичье государство неизбежно обнаруживает в своей политике элементы буржуазного, *капиталистического* порядка. Это и не могло быть иначе в условиях „мирового капиталистического окружения“. *Л. Троцкий*. „1905“, стр. 21 по *первому* изд. „Сделавшись историческим орудием в деле капитализирования экономических отношений России, царизм этим прежде всего укреплял себя.—К тому времени, когда развивавшееся буржуазное общество почувствовало потребность в политических учреждениях Запада, самодержавие, с помощью европейской техники и европейского капитала, превратилось в крупнейшего капиталистического предпринимателя, в банкира и монопольного владельца железных дорог и винных лавок“.

зывает, при об'яснении мотивов участия царской России в мировой войне, к учету влияния союзнического финансового капитала на русское хозяйство и политику. Она обязывает к рассмотрению России, как элемента мирового хозяйства". Разрешаю себе привести одну, не слишком длинную, цитату из другой, недавно появившейся, книжки. „Фактически, пред 1914 годом уже не было национальных капитализмов—французского, английского или германского: был мировой капитализм, отдельные группировки которого спекулировали на национальных чувствах мелкой буржуазии различных стран. В России этого периода железо было на 55% в руках французов, на 22%—в руках немцев и на 10%—в руках франко-германских об'единений. В каменном угле эти последние об'единения были заинтересованы на 10,5%—в то время как „чистые" французы имели 74,3%, а „чистые" немцы 10,1%. Англичане особенно любили, как известно, русскую нефть, но „национально" владели ею лишь менее, чем на 1/5 (18,5%): почти наполовину (44,5%) они ее держали в братском союзе с французами. Юридической же оболочкой для всего этого иностранного держания русских благ были отечественные российские *банки,* которым принадлежали акции соответствующих предприятий,—тогда как акции самих банков были в портфелях заграничных капиталистов. В руках банков было 85,8% всей русской металлургии, 76,9% каменно-угольных копей и 86% нефтяных предприятий. Только текстильная промышленность России перед войной сохраняла еще свой старый, индивидуалистический характер. Все остальное было уже об'единено финансовым капиталом, хотя форменные тресты только начинали лишь образовываться".

Откуда это? — спросит тов. Слепков. А это из статьи М. Покровского „Как возникла мировая война", напечатанной сначала в „Пролетарской Революции", а потом—с небольшими дополнениями — в приложении к русскому переводу книжки Каутского под тем же заглавием. Если прибавить к этой статье то, что было напечатано тем же автором на страницах „Большевика" „Как русский империализм готовился к войне?"— (см. особенно заключительную страницу),—то, как будто, Покровскому-историку учиться у Слепкова особенно нечему. То, чему он меня поучает, я давно знаю и напечатал,—а вот изложить это так популярно, как этого требовал тон „Очерков", не сумел.

Но, не стану и этого скрывать,—не умел отчасти потому, что, когда я читал лекции, я еще сидел между двумя стульями, концепцией Гильфердинга и концепцией Ленина, которые *различны* в чрезвычайно существенных деталях. А так как

тов. Слепков и до сих пор в этой позиции обретается, то ему не бесполезно будет проследить небольшой сравнительный анализ этих двух концепций.

Определение Гильфердинга известно. „Политика финансового капитала преследует троякого рода цели: во-первых, создание возможно обширной хозяйственной территории, которая, во-вторых, должна быть ограждена от иностранной конкуренции таможенными стенами и, таким образом, должна превратиться, в-третьих, в область эксплоатации для национальных монополистических союзов“ [1]. Тут три основные признака: 1) высокие таможенные пошлины; 2) захват новых территорий; 3) наличность монополистических союзов предпринимателей—картелей, трестов и синдикатов. Тов. Слепков уверен, что „Ленин, как и все марксисты, согласен с Гильфердингом“. Но где же у Ленина *два первые* признака, коими я увлекся, в чем и состояло мое грехопадение? Их нет и в помине в том отрывке, который приводит сам Слепков, как „полную, всестороннюю“ характеристику империализма, и мы сейчас увидим, какое скромное место занимают они в ленинской характеристике „исторического места империализма“, которую нужно выписать целиком, как она ни длинна.

„Во-первых, монополия выросла из концентрации производства на очень высокой ступени ее развития. Это—монополистические союзы капиталистов: картели, синдикаты, тресты. Мы видели, какую огромную роль они играют в современной хозяйственной жизни. К началу XX века они получили полное преобладание в передовых странах, и *если первые шаги по пути картелирования были раньше пройдены странами с высоким охранительным тарифом (Германия, Америка), то Англия с ее системой свободной торговли показала лишь немногим позже тот же основной факт: рождение монополий из концентрации производства.*

Во-вторых, монополии привели к усиленному захвату важнейших источников сырья, особенно для основной и наиболее картелированной промышленности капиталистического общества: каменноугольной и железоделательной. Монополистическое обладание важнейшими источниками сырых материалов страшно увеличило власть крупного капитала и обострило противоречие между картелированной и некартелированной промышленностью.

В третьих, монополия выросла из банков. Они превратились из скромных посреднических предприятий в монополистов финансового капитала. Какие - нибудь три-пять крупнейших

[1] „Финансовый капитал“, русский перевод, изд. 3-е, стр. 386.

банков любой из самых передовых капиталистических наций осуществили „личную унию“ промышленного и банкового капитала, сосредоточили в своих руках распоряжение миллиардами и миллиардами, составляющими большую часть капиталов и денежных доходов целой страны. Финансовая олигархия, налагающая густую сеть отношений зависимости на все без исключения экономические и политические учреждения современного буржуазного общества,—вот рельефнейшее проявление этой монополии.

В четвертых, монополия выросла из колониальной политики. К многочисленным „старым“ мотивам колониальной политики финансовый капитал прибавил борьбу за источники сырья, за вывоз капитала, за „сферы влияния“—т.-е. сферы выгодных сделок, концессий, монополистических прибылей и проч.,—*наконец, за хозяйственную территорию вообще.* Когда европейские державы занимали, например, своими колониями одну десятую долю Африки, как это было в 1876 г., тогда колониальная политика могла развиваться не монополистически, по типу, так сказать, „свободнозахватного“ занятия земель. Но когда $^{9}/_{10}$ Африки оказались захваченными (к 1900 г.), когда весь мир оказался поделенным,—наступала неизбежно эра монопольного обладания колониями, а, следовательно, и особенно обостренной борьбы за раздел и передел мира“ [1].

Итак, *тресты и синдикаты,* по Ленину, есть *лишь один из корней монополистического капитализма,* а таможенные пошлины и расширение территории—просто частные случаи. Зато есть еще три корня, при чем важнейшим из них является, несомненно, *банковый капитал,* создающий финансовую олигархию, „налагающую густую сеть отношений зависимости на *все без исключения экономические и политические учреждения современного буржуазного общества*“ (курсив наш). Отсутствие упоминания о банковом капитале и является, по-моему, главным дефектом характеристики „Очерков“.

Сходясь в теоретическом анализе финансового капитализма, Ленин и Гильфердинг весьма различно об'ясняют его происхождение,—а для историка это главное. И, конечно, для историка в десять раз приемлемее об'яснение Ленина, идущего от понятия мирового хозяйства, „раздела мира международными трестами“, а не из „врастания“ в империалистскую стадию отдельных национальных хозяйств, как ставит вопрос Гильфердинг. Последний попросту „универсализировал“ германские и американские отношения, сделал из них общеобязательную

[1] Собрание сочинений, т. XIII, стр. 323—333 (Курсив мой. М. П.).

мировую норму—и этим должен был оттолкнуть от себя всех, мыслящих не абстрактными экономическими схемами, а конкретными экономическими фактами, т.-е. всех историков [1].

Вот почему я, пока на-лицо была только формула Гильфердинга,—когда я писал в 1915 г. свой реферат о „виновниках войны", напечатанный во „Внешней политике" и упоминаемый т. Слепковым,—отрицал империалистский характер войны „по Гильфердингу": и лишь прочтя полтора года спустя (еще в рукописи) брошюру т. Ленина, стал понимать империалистский смысл войны. Но не понял, что после работы Ленина соответствующую часть работы Гильфердинга, мягко выражаясь, надо было убрать в архив. В этом мое горе [2].

Третья часть рецензии т. Слепкова начинается с маленького каламбура. Выписав мое изложение мысли Ленина о связи „мелкого сельского производителя" и развития капитализма в России, т. Слепков заключает: „Здесь на-лицо некоторая неточность". Совершенно верно, т. Слепков, что тут есть „некоторая неточность". Вы выписали не все соответствующее место „Очерков",—вы пропустили основную, резюмирующую фразу: „Таким образом, крестьянин, получивший в свои руки землю,—это по Ленину,—есть база русского капитализма".

Несомненно, что в этой фразе мысль Ленина несколько „заострена", употребляя любимое выражение тов. Слепкова,—попросту говоря, мысль эта выражена здесь несколько аляповато. Но, тем не менее, это подлинная ленинская мысль. Пусть т. Слепков возьмет „Аграрную программу социал-демократии в первой русской революции 1905—1907 годов" (по изд. 1919 года, стр. 30), и он там прочтет, после цити-

---

[1] Я не останавливаюсь на том, что и самое об'яснение возникновения трестов и синдикатов у обоих авторов различное: у Гильфердинга, по существу, из *торговой конкуренции* (оттого ему и понадобились таможенные пошлины и территории), у Ленина из роста *производства*. Едва ли нужно говорить, какое более марксистское.

[2] Эти строки были уже написаны, когда вышла чрезвычайно интересная книжка тов. *Ванага* «Финансовый капитал в России накануне мировой войны». Во введении к своей книжке тов. Ванаг, как и т. Слепков, полемизирует с характеристикой империализма, данной в «Очерках». Но он не ограничивается сопоставлением текстов, а пытается дать анализ об'ективных хозяйственных условий России конца XIX века. Окончательный его вывод, что в 1890-х годах у нас происходила только «подготовка» империализма, для меня вполне приемлем. Если же тов. Ванаг думает, что для меня эра империализма в России наступает «с конца 80-х годов XIX века», то это чистое недоразумение. На соотв. странице (122-й) у меня сказано: «к тому времени когда у нас капитализм стал бурно развиваться, с конца 80-х годов XIX века, наступила эра империализма», не у *нас* наступила, а вообще, в мировом масштабе.

руемой им параллели „прусского“ и „американского“ типов развития, следующее:

„Само собой разумеется, что при втором („американском“. М. П.) исходе развития капитализма и развитие производительных сил было бы шире и быстрее, чем при помещичьем исходе крестьянской реформы. Только каррикатурные марксисты, как их старались размалевать борющиеся с марксизмом народники, могли бы считать обезземеление крестьян в 1861 г. залогом капиталистического развития. Напротив, оно было бы залогом—и оно оказалось на деле залогом—кабальной, т.-е. полукрепостнической аренды и отработочного, т.-е. барщинного, хозяйства, необыкновенно задержавшего развитие капитализма и рост производительных сил в русском земледелии“... „И в тех местностях России, где не было крепостного права, где за земледелие брался всецело или, главным образом, свободный крестьянин (напр., в заселявшихся после реформы степях Заволжья, Новороссии, Северного Кавказа), *развитие производительных сил и развитие капитализма шли несравненно быстрее,* чем в обремененном пережитками крепостничества центре“.

Что это не случайная формулировка, а выражение одной из основных ленинских мыслей, показывает тот факт, что мы встречаемся с тем же взглядом через 15 почти лет на страницах „Детской болезни „левизны“ в коммунизме“ (цитирую по изд. 1920 г.): „Диктатура пролетариата везде есть самая беззаветная и самая беспощадная война нового класса против *более могущественного* врага, против буржуазии, сопротивление которой *удесятерено* ее свержением (хотя бы в одной стране) и могущество которой состоит не только в силе международного капитала, в силе и прочности международных связей буржуазии, *но и в силе привычки,* в силе *мелкого производства.* Ибо мелкого производства осталось еще на свете, к сожалению, очень и очень много, а мелкое производство *рождает* капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе“ (стр. 8), и далее: „После первой социалистической революции пролетариата, после свержения буржуазии в одной стране, пролетариат этой страны *надолго* остается *слабее,* чем буржуазия, просто уже в силу ее громадных интернациональных связей, а затем в силу стихийного и постепенного восстановления, возрождения капитализма и буржуазии мелкими товаропроизводителями свергнувшей буржуазию страны“ (стр. 60, курсив везде Ленина).

Если в первой части рецензии попытка ревизии общемарксистского учения о государственном абсолютизме привела т. Слепкова очень близко к Троцкому, то в третьей части на-

чинают звучать почти *народнические* нотки. Тов. Слепкову чрезвычайно не нравится, что крестьянин—собственник и имеет соответствующую идеологию. Нехотя признав факт этих собственнических черт крестьянина для революции 1905 года, т. Слепков стремится, по крайней мере, хронологически ограничить это зло, отрицая, с одной стороны, крестьянскую собственность Московской Руси, а с другой стороны, изображая современное нам крестьянство как уже чуть-чуть не социалистическое. „В 1917 году масса бедного и среднего крестьянства разносит помещика и (!) кулака, под руководством пролетариата, держащего в своих руках государственную власть",— уверенно заявляет т. Слепков.

Позволю себе и на это ответить цитатой из Ленина. Я беру на этот раз „Странички из дневника" (январь 1923 года), отдельные места которых давно обратились в лозунги. Сказав о том, что городской рабочий должен быть проводником коммунистических идей в среду сельского пролетариата, Ленин оговаривается: „Никоим образом нельзя понимать это так,— будто мы должны нести сразу чисто и узко коммунистические идеи в деревню. До тех пор, пока у нас в деревне нет материальной основы для коммунизма, до тех пор это будет, можно сказать, вредно и гибельно для коммунизма. Нет. Начать следует с того, чтобы установить общение между городом и деревней, отнюдь не задаваясь предвзятой целью внедрить в деревню коммунизм. Такая цель не может быть сейчас достигнута, такая цель несвоевременная. Постановка такой цели принесет вред делу вместо пользы".

Как видит т. Слепков, Ленин так же мало полагался на „перерождение" русского крестьянина в 1917 году, как и на перерождение российского абсолютизма в XIX веке. „Мужицкий капитализм" продолжал для него, как, впрочем, и для всех трезво мыслящих марксистов, оставаться фактом и угрозой после Октябрьской революции.

Но, волнуется т. Слепков, „нельзя сказать просто *мужицкий капитализм. Если бы дело обстояло так, то наши перспективы были бы безнадежны*".

Напрасно волнуется т. Слепков. Крестьянство, даже кулацкое, слишком зависит от пролетариата, ведущего борьбу против империализма в мировом масштабе, чтобы его бросить и перейти—на чью сторону? Тех трестов и синдикатов, того банкового капитала, который высасывает и американского фермера и французского крепкого мужичка? Во Франции во время империалистской войны настроение крестьянской массы было куда революционнее иных отрядов пролетариата. И сей-

час французские крестьяне дают много голосов коммунистической партии, а фермеры Соединенных Штатов тянутся в одну партию с рабочими—фермеры же Соединенных Штатов столь типичные представители „мужицкого капитализма“, что где же у нас таких сыскать. И это, пока мы остаемся в кругу крестьянской аристократии белых народов. А если взять цветное крестьянство Судана, Индии, Китая,—только цветом кожи и одеждой отличающееся от нашего, а экономическая категория та же,—если мы возьмем крестьянство тех стран, где борьба с империализмом есть борьба за национальное существование, мы получим такую смычку пролетарско-крестьянского фронта против этого империализма, что смешно бояться того факта, что в русской деревне кулак не только существует после 1917 года, но и сидит кое-где в этой деревне на командующих постах.

Подведем итоги. Тов. Слепков правильно подметил неточность некоторых формулировок, данных в „Очерках“. Особенно правильным является его замечание о моей характеристике империализма. Но, к сожалению, он не остановился на других сторонах „Очерков“, как раз тех, ради которых я их и пустил в печать: на новой схеме истории русского революционного движения XIX века и на главах, посвященных столыпинщине и войне. Вместо этого, т. Слепков по поводу моей *новой* книжки занялся пересмотром моих *старых* (но, как видится, не устаревших) теорий. А затем, в моем скромном лице, попробовал сразиться с т. Лениным по вопросу об исторической роли крестьянства. В этих двух случаях т. Слепков потерпел неудачу, оправдав французскую поговорку: „qui trop embrasse, mal étreint“, по русски говоря, в вольном переводе: „Кто слишком много захватит, у того из рук валится“.

Этой поговоркой позвольте закончить мой маленький сборник цитат. Я ведь и обещал хрестоматию...

«Под Знаменем Марксизма» 1924 г., № 12.

Библиотека

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
Предисловие	3
Г. В. Плеханов как историк России	5
Правда ли, что в России абсолютизм „существовал наперекор общественному развитию?“	20
Своеобразие русского исторического процесса и первая буква марксизма	30
Кончаю...	38
Троцкизм и „особенности исторического развития России“.	40
Откуда взялась внеклассовая теория развития русского самодержавия	55
К вопросу об особенностях исторического развития России.	92
О пользе критики, об абсолютизме, империализме, мужицком капитализме и о прочем	132

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ПРИБОЙ“

ЛЕНИНГРАД, Улица 3-го Июля, дом № 14.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

журнал самообразования

Коммунистический Университет

НА ДОМУ

Издание имеет целью дать марксистско-ленинское воспитание рабочим и крестьянам и коммунистической молодежи, не имеющим возможности получить его в Коммунистических Университетах, а также тем, кто хотел бы пополнить свои знания.

Издание помогает читателю в проработке курсов посредством специальных вопросников, методических указаний и т. п.

ГЛАВНЕЙШИЕ ОТДЕЛЫ:

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ:—ленинизм, диалектический материализм, политэкономия, история РКП, история общественных форм, экономическая политика и хозяйство СССР, кооперация и т. п.

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ:—химия, физика, геология, физиология и многие другие вопросы, подробнее разрабатываемые в другом издании „Прибоя“ „Народный Университет на Дому“.

ОТДЕЛ ВОПРОСОВ и ОТВЕТОВ:—ответы читателям по курсам, освещенным в журнале и вне их, советы и помощь в самообразовании, указание и советы, что и как читать и т. п.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 2 руб. — на 3 мес., 4 руб. — на 6 мес., 7 руб.—на 12 мес. (12 книг).

РАССРОЧКА: При выписке на 1 год: 2 руб.—при подписке и по 1 руб. — в следующие пять месяцев. При выписке одновременно „Народного Университета на Дому“ и „Коммунистического Университета на Дому“ (24 книги) — 12 руб. за оба издания: рассрочка: 4 руб.—при подписке и по 1 руб.—в следующие 8 месяцев.

10% СКИДКИ получат подписчики при выписке книг. Расходы по пересылке издательство **берет на себя.**

◆◆ ТРЕБУЙТЕ БЕСПЛАТНО ◆◆

подробный указатель (проспект) содержания журнала.